глобальном его, вероятно, вне этой чудесной среды просто не существовало. Да и вообще, за всю историю математики такая мечта воплощалась у нас лишь локально, в самых ограниченных кругах (возможно, группа, сформировавшаяся в свое время вокруг Пифагора, была одним из таких примеров — но то были люди совсем иного склада ума).

Я тогда очень остро ощущал свою принадлежность к этой среде — это было чувство, неотделимое от моего нового самоощущения, восприятия себя как математика. Это был первый, после семейного, круг друзей, где меня тепло приветствовали у входа и, не раздумывая, приняли, как своего. Здесь, правда, действовала другая связь, особой природы: мой собственный подход к математике оказался сродни подходу, принятому в группе, и тем самым нашел себе подтверждение в новой среде. Не то, чтобы мой подход в точности совпадал с «бурбакистским» — но они были явно близки между собой, и здесь нельзя было ошибиться.

И вот, впридачу к своим неоценимым достоинствам чисто математического толка, новая среда была в моих глазах идеальным, сказочным краем без войн и без ссор — до полного совершенства ей недоставало лишь самой малости! Я ведь всегда искал такого *бесконфликтного мира*, и эти поиски привели меня в математику — в науку, где, как мне казалось, нет места и самому робкому намеку на дисгармонию. Достичь заветной цели — большая удача, но у нее есть и оборотная сторона. Конечно, в новой среде я сумел развить в себе кое-какие способности, состояться как математик в окружении старших коллег, ставших мне равными. Но в этом я нашел для себя (желанный!) способ укрыться от конфликта в моей собственной жизни. За такие подарки всегда приходится расплачиваться с судьбой. Заплатил и я — духовным застоем, растянувшимся на долгие годы.

23. Спору нет, «бурбакистская» среда в свое время оказала на меня весьма заметное влияние. Мой взгляд на мир (и на мое место в нем) заново сложился в кругу друзей-математиков. Но в чем заключалось это влияние, как оно проявилось в моей жизни — отдельный вопрос, а я не хочу отступать от темы. Одно я хотел бы здесь подчеркнуть: судить о людях по их «заслугам», мне кажется, я начал сам по себе. Работа мне удавалась, и мало-помалу в моей душе, откуда-то из глубины, начинало подниматься самодовольство; но и здесь дело было во мне, а не в моем новом окружении. По крайней мере, в пятидесятые годы (как, впрочем, и в начале сороковых) обстановка вокруг Бурбаки едва ли располагала к таким переменам. Все это было заложено во мне гораздо раньше; думаю, что семена проросли бы в любой другой среде с тем же успехом. Позволю себе повториться: история с «бездарем-учеником», о которой я не так давно рассказал, отнюдь не типична для атмосферы тех лет в нашей среде. (Зато она достаточно точно характеризует мои тогдашние нравственные установки, с присущей им амбивалентностью.) Отношения в группе Бурбаки основывались на уважении к человеку: в работе никто никого не принуждал, все чувствовали себя свободно (по крайней мере, атмосфера в Бурбаки пятидесятых мне сейчас вспоминается именно так). Самодовольство, стремление навязывать другим свою волю в такой обстановке не находило себе опоры.

Человеческое тепло дороже достижений высокой науки; ни в том, ни в другом в нашей среде не было недостатка. Эта среда, эта удивительная жизнь для меня — великая ценность. Но ее больше нет. Когда и как она умерла, я не знаю. Уверен, никто не заметил ее смерти; никто, даже про себя, не подхватил печальный напев неслышного колокола. Думаю, что разрушение начиналось исподволь, в душах людей — и впрямь, все мы «заматерели», очерствели, быть может. Мы стали важными, грозными, могущественными особами; к нашим словам прислушиваются, нашего внимания ищут. Искра, пожалуй, и сохранилась, но какая-то наивность потеряна по дороге. Кто-то из нас, быть может, еще успеет обрести ее вновь; и это будет для него, как второе рождение. Но той среды, что приняла меня когда-то, больше нет; ждать, что она воскреснет — пустая надежда. Все уже встало на свои места, и обратного хода нет.

Наивность затерялась в погоне за временем — и уважение, наверное, позабыто на каком-то из поворотов. А ведь это могло бы быть лучшее наше наследство; впрочем, когда у нас появились ученики, мы, вероятно, уже успели его растратить. Искра еще горела, но душевной невинности и след простыл, а уважение осталось лишь к «своим» и к «равным».

Пусть поднимется ветер, пусть его сухое дыхание обожжет лицо незадачливому путнику — мы надежно укрыты за толстыми стенами. Мы — хозяева крепостей, каждый со своей «свитой»...

Все встало на свои места...

24. Похоже, что разговор о моей жизни как математика принимает совсем иной оборот, чем я рассчитывал поначалу. Признаться, я вовсе не собирался устраивать «ретроспективу», выворачивая память стольких лет наизнанку. Я хотел написать несколько строчек, от силы одну-две страницы, о том, какие чувства у меня сегодня вызывает математический мир, который я когда-то оставил. И еще, быть может, поделиться с читателем догадками о том, что (судя по разным откликам, долетающим время от времени и до моего угла) думают обо мне мои прежние друзья. После этого я предполагал перейти к своей «главной теме», то есть, к вопросу о том, как сложилась научная судьба определенных идей и понятий, которые я в свое время ввел в математический обиход. (Точнее, речь идет о некоторых новых типах объектов и структур; да и что это за слова — «ввести в математический обиход»? Дело-то было совсем иначе. Случайно, наощупь, я обнаружил нечто в каких-то темных глубинах математики, где ни один исследователь до меня не бывал. Как меня туда занесло, в двух словах не расскажешь. Я вынес свои находки наружу, чтобы получше их рассмотреть. Какие-то из них я оставил на полпути, в полумраке, так что вокруг них еще много неясного. А то, что взял с собою, своими руками донес до яркого света.) Но вышло так, что мои записки превратились в размышление о прошлом — а все из-за того, что настоящее сбивало меня с толку, и я пытался как-то его осмыслить. Решительно, ту, прежнюю тему придется отложить до лучших времен; раздумье о геометрической «школе» (возникшей с моей подачи, а позднее исчезнувшей почти без следа), надеюсь, как-нибудь дождется более удачного случая[7]. А сейчас я должен довести свой «обзор» до конца, продолжить разговор о моей жизни как математика — среди коллег и учеников, в математическом мире. Подробности, связанные непосредственно с работой, научными результатами и проч., пока можно опустить.

Я только что возобновил свои записки после недолгого перерыва (меня отвлекли другие задачи). Все эти пять дней ко мне настойчиво возвращалось одно и то же воспоминание, одно и то же событие ярко и живо вставало перед глазами. Рассказ о нем, думается мне, мог бы послужить эпилогом к моему «De Profundis».

Случилось это в конце 1977 года. За несколько недель до того меня вызвали в Исправительный Суд Монпелье. Мое преступление заключалось в том, что я «безвозмездно предоставлял кров и пищу иностранцу, находившемуся в стране на незаконном положении» (то есть иностранцу, у которого бумаги, подтверждающие право на пребывание во Франции, были не в порядке). Тогда я и узнал впервые о существовании этого невероятного параграфа в уложении 1945 года, определяющего статус иностранцев во Франции. Этот параграф запрещает всем французам оказывать в какой бы то ни было форме помощь иностранцу «на незаконном положении». Этот закон, не имевший себе аналога даже в гитлеровской Германии по отношению к евреям, очевидно, никогда буквально не исполнялся. Государство оказало честь вашему покорному слуге, избрав его в качестве подопытного кролика, чтобы впервые испробовать в действии этот параграф. Что и говорить, странное «стечение обстоятельств».

Я был потрясен и несколько дней кряду пребывал в глубоком отчаянии; сознание мое было будто парализовано. Мне вдруг показалось, что я вернулся во времена тридцатипятилетней давности, когда человеческая жизнь не стоила ни гроша — в особенности, жизнь иностранца… Потом я как-то встряхнулся и решил бороться. Несколько месяцев под-

[7]«Случай» подвернулся раньше, чем я предполагал. Размышлению об этой геометрической школе посвящена вторая часть «РС», под заголовком «Похороны».

ряд все мои силы уходили на попытки мобилизовать общественное мнение: сначала в Университете в Монпелье (где я работал), потом — на уровне всей страны. Дело, как выяснилось впоследствии, так или иначе было обречено на провал; тем не менее, борьба проходила для меня достаточно напряженно. К тому (довольно тяжелому для меня) времени и относится эпизод, который я сейчас, про себя, мог бы назвать *прощальным*.

Готовясь к акции в масштабе страны, я написал пяти особенно известным «деятелям отечественной науки» (в том числе, одному математику), чтобы поставить их известность о существовании этого невероятного закона. Должен сказать, что этот факт и сейчас кажется мне не менее поразительным, чем в тот день, когда меня вызвали в суд. В своем письме я предлагал предпринять совместную акцию протеста против жестокого распоряжения: ведь, по сути, оно ставит вне закона сотни тысяч иностранцев, проживающих во Франции. Что же до миллионов остальных, «легальных» иностранцев, то их уделом становится враждебное недоверие со стороны населения: под страхом нарушить закон (не требовать же паспорта у каждого встречного) французы, вероятно, должны избегать их, как прокаженных!

Вот результат (совершенно недоступный моему пониманию): *ни один* из упомянутых «деятелей» на мое письмо не отозвался. Как говорится, век живи — век учись.

Тогда-то я и решил поехать в Париж. Время было удачное: готовился очередной Семинар Бурбаки. Там мне, конечно же, предстояло повстречать многих старинных друзей; вот прекрасный случай заручиться поддержкой математической общественности. Я рассудил, что математическая среда должна быть особенно чувствительной к вопросу об иностранцах: ведь с коллегами, учениками, студентами из других стран каждый «действующий» математик в Париже сталкивается чуть ли не ежедневно! При этом почти все иностранные ученые испытывали трудности при оформлении официальных документов. В кабинетах (и коридорах) префектуры полиции их ждал произвол властей; чиновники нередко обходились с ними презрительно... Лоран Шварц, которому я рассказал о своих планах, пообещал предоставить мне слово (для того чтобы я мог объяснить ситуацию присутствующим коллегам) в конце первого дня Семинара.

Так и вышло, что я в тот день явился на Семинар с чемоданчиком, набитым листовками. Алэн Ласку помог мне их раздать в коридоре Института Анри Пуанкаре перед началом заседания и в «антракте» между двумя докладами. Из моих прежних товарищей всего двое-трое, прослышав о деле, связались со мной еще до того, как я приехал в Париж, и предложили свою поддержку; Алэн был в их числе ([17]). Если я правильно помню, он и сам составил небольшую листовку. Роже Годеман также написал воззвание под заголовком: «Лауреата Нобелевской премии — под арест?» Это было чрезвычайно любезно с его стороны, хотя ход его мыслей в этом случае был мне не вполне ясен. У него выходило так, будто нельзя обижать только «Лауреатов Нобелевской Премии»; зато уж с каким-нибудь дворником можно было обойтись как угодно!

В тот день на Семинаре Бурбаки и впрямь собралась целая толпа. Думаю, там были почти все мои прежние друзья и товарищи по Бурбаки. Институт Пуанкаре захлестнуло людским потоком, и моих старых знакомых в нем было не сосчитать. Повстречал я там и несколько своих бывших учеников. Я рад был случаю, впервые за десять лет без малого, увидеть их снова — хотя знакомых лиц было так много, что глаза разбегались в этой толпе! Зато пересчитать тех, кто остался со мною в конце, не составляло большого труда...

Довольно скоро, однако, стало ясно, что встреча после долгой разлуки выходит «не та». В крепких рукопожатиях, конечно же, не было недостатка, и восклицания в духе: «Ба, да и ты здесь! Каким ветром занесло?» — сыпались со всех сторон. Но какая-то смутная неловкость скрывалась за восторженными возгласами: потому ли, что они совсем не разделяли моих забот? Ведь они явились сюда, чтобы принять участие в определенной математической церемонии; такое событие случается трижды в год и, естественно, занимает их мысли. А может быть, дело было просто во мне — как бывшим семинаристам, прочно стоящим на высоких ступенях церковной иерархии, становится неуютно в присутствии кюре, сложившего сан? Не берусь судить; вероятно, здесь повлияло и то и другое. Я, со своей стороны, не мог не отметить, как изменились лица вокруг — когда-то такие родные, даже любимые. Я не увидел в них прежней живости: они как бы застыли, опустились. У меня было ощущение, будто я ошибся дверью; меня окружали совершенно чужие люди, с которыми у меня не могло быть ничего общего. Мысль о том, что мы с ними живем в одном и том же мире, казалась мне странной и непонятной. Я искал поддержки, я ехал к ним, чтобы обрести братьев — и вот передо мною чужие, до странности равнодушные люди. Хорошо воспитанные, надо отдать им должное: над моей затеей никто не смеялся, и листовок, насколько я помню, не бросали на пол. Может быть, их даже прочли: помогло любопытство.

Это, однако, отнюдь не означало, что над жестоким законом нависла угроза отмены. Я получил свои пять минут (может быть, даже десять) чтобы рассказать о положении иностранцев (а значит, многих людей, которые были для меня как братья). Зал был полон. Мои коллеги вели себя тише, чем если бы я читал очередной доклад. Вероятно, я говорил без убеждения: я не слышал живого отклика в зале, не улавливал в воздухе, как в былые времена, сочувствия и тепла. Здесь, должно быть, многие спешат, — сказал я себе и поторопился закончить. Тем, кого заинтересовало мое сообщение, я предложил немного задержаться, чтобы обсудить дело подробнее.

Когда объявили конец собрания, у выходов сразу образовалась толпа. Очевидно, спешили все: на поезд (который должен был вот-вот отойти) или в метро. Им никак нельзя было опоздать! В одну-две минуты огромный зал опустел — чудеса, да и только… В пустынном, ярко освещенном зале Эрмита, считая Алэна и меня, осталось три человека. Третий был незнакомец — готов поспорить, один из тех самых иностранцев, о которых в обществе и упомянуть-то неловко! Только посмотрите на него: как водится, в сомнительной компании, и вдобавок — заведомо на незаконном положении! Мы не стали обсуждать сцену, только что разыгравшуюся у нас на глазах: она и без того была достаточно красноречива. Не исключено, что из нас троих лишь я один не верил своим глазам; как бы то ни было, мои друзья тактично воздержались от каких-либо замечаний. Очевидно, я оказался слишком наивен…

Остаток вечера мы провели у Алэна и его бывшей жены Жаклин, за обсуждением ситуации и разговорами о том, что еще можно было бы предпринять. Кроме того, мы немного лучше познакомились, кое-что узнав друг о друге. Ни тогда, ни после я не попытался соотнести эту историю с моими воспоминаниями о прошлом. И все же, в тот день я понял без слов, что той среды, того мира, который я знал и любил, больше не существует. Живое тепло родного воздуха, которое я надеялся обрести вновь, унесло ветром — много лет тому, так что потерялся и след…

Это открытие, однако, не принесло мне душевного покоя. Год за годом ко мне долетают все более резкие отголоски событий из того мира, откуда исчезло человеческое тепло. Иногда эти далекие вести попрежнему ошеломляют меня, отдаются сердечной болью. В этом смысле размышление едва ли сможет что-нибудь изменить — разве только я пойму, наконец, что нет смысла скрывать чувство обиды и горечи от себя самого…

25. «Обзор» моих отношений с коллегами внутри нашего математического мира еще не завершен. Для полноты картины мне осталось прежде всего исследовать свои отношения с учениками в те времена, когда я сам ощущал себя частью пресловутого «математического сообщества». Мои ученики работали под моим руководством; ученики моих коллег, естественно, смотрели на меня, как на «старшего». Об этом тоже следует поговорить.

Взаимное уважение в моих отношениях с учениками всегда стояло на первом месте; это, пожалуй, я мог бы утверждать без оговорок. Эту установку я сам в свое время получил от старших; смею сказать, что годы ее не расшатали. У меня была репутация человека, который занимается «сложной» математикой (оценка, нельзя не отметить, весьма субъективная!). Еще говорили, что я требовательнее других (что уже не так субъективно). Поэтому студенты, приходившие ко мне, заранее знали, на что идут: работа их увлекала по-настоящему. У меня был всего один ученик, который поначалу вел себя несколько «развязно» — я даже не был уверен, что он сможет включиться в работу. Но прошло немного времени, и он взялся за ум без какого-либо «нажима» с моей стороны.

Насколько я помню, я никогда не отказывал тем, кто хотел поступить ко мне в ученики. У меня было два случая, когда я принимал человека — и по прошествии нескольких недель становилось ясно, что мой стиль работы ему не подходит. Откровенно говоря, сейчас мне кажется, что в обоих случаях сыграл роль какой-то психологический барьер: по его вине мы не сумели договориться, и связь «учитель-ученик» так и не установилась. Я же в тот момент заключил, слишком поспешно, что у этих молодых людей просто нет способностей к математике. (Конечно, случись все это сейчас, я был бы намного осторожнее в своих суждениях.) Я не замедлил изложить свою точку зрения обоим студентам и тогда же посоветовал им выбрать другую профессию: математика, на мой взгляд, не соответствовала их природным наклонностям. Теперь я знаю, что был неправ: один из этих молодых людей все же стал математиком и достиг известности, работая над сложными задачами на границе алгебраической геометрии и теории чисел. Что сталось с другой ученицей, молодой девушкой, мне неизвестно. Не исключено, что я был чересчур категоричен, и после нашего разговора она потеряла уверенность в своих силах (в то время как она, вероятно, могла бы заниматься математикой не менее успешно, чем ее товарищ). Мне кажется, я ошибся не потому, что с самого начала не поверил в их способности и желание работать — совсем нет: я доверял им не меньше, чем остальным ученикам. Я просто не понял тогда, что имею дело с проблемой чисто психологического толка: мне не хватало дальновидности ([18]).

Считая с начала шестидесятых (то есть, всего за десять лет) под моим руководством защитилось одиннадцать человек ([19]). Тему для диссертации мои ученики выбирали сами. Все они работали с большим подъемом; казалось, каждый из них душою срастался с избранной темой.

Впрочем, здесь было одно исключение. Один из моих учеников выбрал себе тему, по-видимому, без настоящего убеждения. Работу, за которую он взялся, «кто-то должен был сделать»; однако, в известном смысле, она была довольно неблагодарной. Она состояла в технической обработке уже готовых идей; сложные, даже сухие вычисления — на этой дороге не было неожиданностей ([20]). Передо мной тогда лежала обширная программа, занимавшая все мои мысли. Для того чтобы ее осуществить, я нуждался в помощниках. Предлагая своему ученику тему для диссертации, я не подумал о том, что по характеру она ему совсем не подходила. Вероятно, молодой человек, со своей стороны, не вполне отдавал себе отчет в том, что за работа ему предстоит. Как бы то ни было, ни он, ни я не успели вовремя заметить, что он выбрал не ту дорогу. Ему, конечно, следовало бы вернуться к перекрестку и попробовать заново.

Работа явно была ему не в радость. С тех пор как он за нее взялся, у него всегда был какой-то сумрачный, невеселый вид. Я же за своими «насущными» математическими заботыми, кажется, давно уже не обращал внимания на подобные вещи. И напрасно: в математике, да и в чем угодно, самый ход работы во многом определяется настроением. Я следил за его работой: досадовал на задержки и облегченно вздыхал, когда дело налаживалось. Этим моя роль ограничивалась. Когда задуманная программа была, наконец, осуществлена, я больше не беспокоился по этому поводу.

Прошли годы, он стал солидным профессором — кажется, в те благословенные времена все, кому не лень, выходили в профессора! Как-то раз мне довелось обменяться с ним несколькими письмами. И лишь тогда, спустя годы после моего пресловутого «пробуждения», мне вдруг пришло в голову, что с этим учеником у меня что-то не сложилось: пропало ощущение полного успеха от нашей совместной работы. Теперь же, по зрелом размышлении, она представляется мне полным провалом, несмотря на «культурно» (отнюдь не «халтурно») отлаженную программу, солидный диплом и важную должность моего бывшего ученика. На мне лежит немалая доля ответственности за эту неудачу. Ведь это я в свое время заботился о том, как бы поскорее осуществить свою программу, больше, чем о живом человеке — а значит, я обманул его доверие. Итак, мое хваленое «уважение без оговорок» (будто бы лежавшее в основе моих отношений с учениками) оказалось поверхностным. Настоящее уважение идет от теплого, сердечного внимания к нуждам конкретного человека. А что от меня зависело в данном случае? Простая вещь: помочь ученику выбрать такую тему, чтобы ему радостно было над ней работать. Иначе труд теряет смысл, становится принудительным.

Как-то раз, на этих самых страницах, я заговорил о «мире, лишенном любви». В свое время я отверг его с таким негодованием — по праву ли? Ведь я и сам когда-то был частью этого мира, в котором сегодня вовсю хозяйничает ветер презрения. Не занес ли он и в мою душу семян с неблагодатной земли? Если так, они давно уже проросли… Похоже, только что я набрел на один из этих ростков — и достаточно зрелый. Какие всходы дадут его семена в душе моего ближнего, я судить не берусь. С таким же «уважением», обделенным настоящей любовью, я относился к собственным детям — и тут я уже мог видеть своими глазами, как эти семена прорастали, набирали силу, приносили плоды. И, размышляя, я начинал понимать, как это нелепо — ворчать и воротить нос от горького урожая…

26. Если не считать случая с этим учеником (безусловно, ничуть не менее «одаренным», чем другие), то можно с уверенностью сказать, что мои отношения с учениками всегда были искренно дружескими, зачастую даже сердечными. Волею обстоятельств, все они научились терпеливо сносить два моих основных недостатка как «научного руководителя». Во-первых, у меня был (и есть) отвратительный почерк; впрочем, кажется, все мои ученики мало-помалу научились его расшифровывать. Во-вторых, что гораздо важнее, мне всегда было очень нелегко следить за мыслью собеседника — я должен был сперва перевести ее на язык своих собственных образов, а затем «передумать» заново, на свой лад. Очевидно, что-то во мне противилось непосредственному восприятию чужой идеи — свойство, которое я сам в себе заметил далеко не сразу.

Я был слишком захвачен стремлением передать ученикам определенное видение математики, занимавшее тогда все мои мысли. Из-за этого я уделял намного меньше внимания тому, чтобы помочь ученикам в развитии их собственного видения (вероятно, во многом разнившегося с моим). В отношениях с учениками я и по сей день не избавился от этой привычки — но теперь, когда я стал принимать ее в расчет, она, как мне кажется, причиняет меньше вреда. Не исключено, что от рождения (или просто по жизни) я лучше приспособлен к уединенному труду (первые пятнадцать лет, то есть примерно с 1945 по 1960 гг. я занимался математикой в одиночку), чем к работе с учениками, у которых личный подход к математике, свои склонности и предпочтения только начали складываться ([21]). Однако правда и то, что учить мне нравилось с самого раннего детства. С начала шестидесятых и вплоть до этого самого дня, ученики, приходившие ко мне, всегда занимали важное место в моей жизни. По одному этому можно судить, что преподавательская деятельность, и моя собственная роль как учителя, весьма немало для меня значат ([22]).

В моих отношениях с учениками «до 70-го» я не помню ни одной открытой ссоры — бывали, конечно, мимолетные охлаждения, но не более того. Как-то раз мне пришлось предупредить одного из учеников, что он, на мой взгляд, недостаточно серьезно относится к работе. Я сказал ему, что если так будет продолжаться, я вынужден буду от него отказаться. Само собой, он не хуже меня понимал, о чем идет речь. Он учел мою просьбу, взялся за дело — и инцидент, что называется, был исчерпан. Другой случай относится уже к началу семидесятых, когда мои мысли в основном занимала работа в группе «Survivre et Vivre», а математика отошла для меня на второй план. Один молодой человек, закончив свою работу под моим руководством, как и положено, передал мне текст диссертации. Я написал отзыв и, по своему обыкновению, показал его автору работы. Просмотрев мои записи, он пришел в ярость. Он решил, что некоторые из моих оценок ставят под сомнение качество его работы (чего я, конечно же, не мог иметь в виду). На сей раз уступил я, и не задумываясь. У меня не было, ощущения, что он с тех пор затаил на меня обиду, но не исключено, что я ошибался. Мы, впрочем, никогда не дружили с ним так, как с другими учениками: у нас были хорошие рабочие отношения, и ничего больше. Но все же мне было странно, что он счел мои замечания настолько нелестными — и не думаю, чтобы я включил их в свой отзыв от недостатка доброжелательности. Тогда же, в разговоре, он упомянул имя одного из своих товарищей (который к тому моменту уже защитился под моим руководством). Он сказал, что я в свое время уже написал несправедливый отзыв на диссертацию его друга; он, дескать, «не допустит», чтобы с ним обошлись так же. Но как раз с тем учеником, человеком дружелюбным и чувствительным по натуре, меня связывали самые теплые отношения. Если я и включил в свой отзыв о его работе соображения, позднее так возмутившие его товарища, то уж во всяком случае не от недостатка доброжелательности! И, конечно, я никому из своих учеников не открыл бы «зеленой улицы» к защите диссертации, если бы не был вполне удовлетворен представленной мне работой. Герои этого маленького рассказа — не исключение. Тут можно добавить, что все мои ученики того периода после защиты легко устраивались на работу. Действительно, каждый из них тогда очень быстро нашел место по себе.

Вплоть до 1970 года я, по сути, не занимался ничем, кроме математики, и почти все свободное время проводил в работе с учениками ([22′]). Когда подступала необходимость (или когда это просто могло оказаться полезным), я проводил с тем или иным из них целые дни — мы обсуждали вопросы, еще не разрешенные до конца в его диссертации, или же вместе работали над ее оформлением. В эти периоды напряженной совместной работы я никогда не чувствовал себя «руководителем», заправляющим делом и в одиночку принимаюшим решения. Напротив, мы трудились сообща, на равных правах, и обсуждения велись до тех пор, пока каждый из нас не оставался вполне удовлетворен результатом. При этом ученик, конечно, выкладывался намного больше, чем я — зато я был опытней, и математическое чутье, которое я успел развить в себе за эти годы, подчас приносило немалую пользу.

Однако то, что мне кажется важнее всего с точки зрения качества научной работы, да и вообще любого исследования, совсем не связано с опытом. Это — *требовательность к себе.* Речь идет не о том, чтобы тщательно следовать каким-либо общепринятым правилам. Скорее, эта требовательность заключается в напряженном *внимании* к чему-то тонкому, хрупкому, заложенному внутри нас — к чему-то, что не опишешь набором правил, не измеришь заранее заданной мерой. Степень нашего понимания ситуации, проникновения в суть того, что мы исследуем — вот что это такое. Итак, речь идет о внимании к *качеству понимания* — меняясь по ходу дела, оно все же присутствует каждую минуту. Пробиваясь незаметным ростком сквозь исходные нагромождения разнородных понятий, утверждений, предположений, так что в общей какофонии едва слышна его робкая тема, оно, шаг за шагом, приводит нас к полной ясности, к безупречной гармонии. Многомерность, глубина исследования (при этом неважно, стремимся ли мы достичь полного или частичного понимания ситуации), определяется тем, насколько живо и неослабно в нас это внимание. И в этом смысле нельзя принудить себя быть внимательным, нарочно стараясь «быть начеку». Внимание приходит само собой, рождаясь от настоящей страсти к познанию, и никогда — от честолюбивых устремлений, от жажды наград.

Это внимание иногда называют *«строгостью».* Но тогда это строгость внутренняя, чуждая каким бы то ни было канонам, принятым в данный момент в рамках данной дисциплины. Если на страницах этой книги я позволяю себе достаточно вольно обходиться с правилами подобного рода в математике (хотя они, безусловно, полезны сами по себе — ведь я и сам много лет преподавал их студентам), то все же не думаю, что строгости в них меньше, чем в моих прежних работах, написанных в каноническом стиле. Если мне и удалось передать ученикам нечто более ценное, чем знание математического языка и приемов нашего ремесла, то это именно требовательность к себе (внимание, строгость). В жизни мне ее недоставало не меньше, чем любому другому, но в математике я, пожалуй, мог бы ею и поделиться ([23]). Спору нет, скромный подарок — а все-таки лучше, чем ничего.

27. Не думаю, чтобы студенты, которые хотели со мной работать, боялись меня или хотя бы «робели» в моем присутствии — не считая, быть может, тех двоих молодых людей, с которыми мы так и не сумели найти общий язык. Другое дело, что все они к тому моменту уже были со мной знакомы — например, видели меня на моем же семинаре в IHES. Если поначалу между нами и возникала некоторая неловкость, то она быстро исчезала в ходе работы. А впрочем, два исключения из этого правила я все-таки мог бы назвать. Один из моих учеников так и не научился по-настоящему любить математику. Живого интереса к науке у него не было, на мои вопросы он отвечал только «да» и «нет» — даже во время нашей с ним совместной работы. Может быть, дело было еще и в том, что в ту пору я уже не мог работать с учениками так много, как раньше. Мы с ним не работали подолгу над отдельными «кусками» его программы, как это бывало раньше с другими учениками. И впрямь, я не припомню, чтобы я проводил с ним в обсуждениях целые дни или хотя бы вечера. Скорее, мы, как правило, встречались урывками, на два-три часа, чтобы обговорить тот или иной вопрос. Решительно, это не мне с ним, а ему со мной не повезло в тот момент!

Другой молодой математик, о котором я хочу рассказать, напротив, работал со мной в ту пору, когда времени у меня было более чем достаточно. Отношения между нами с первых же дней стали теплыми и сердечными. В каком-то смысле мы с ним даже «дружили семьями»: я часто навещал его, он заходил ко мне — у меня было несколько таких учеников. Впрочем, в такой дружбе всегда было что-то поверхностное. По сути, я ничего не знал о жизни своих учеников — точно так же, как я не знал, что происходит в моем собственном доме (разве что иногда чувствовал неладное). Конечно, я помнил имена их жен и детей (да и то иногда забывал, к своему ужасу!). Быть может, я тогда был слишком «зацикленным» даже для математика. Но мне думается, что и вообще среди моих знакомых математиков даже самые тесные, самые сердечные взаимоотношения, как правило (если не всегда), оставались поверхностными. Получалось, что люди почти ничего не знали друг о друге — а случайные догадки оставались неосознанными, недосказанными. Отчасти поэтому, без сомнения, мы и ссорились между собою так редко: раскол, поселившийся в наших душах, в наших домах и семьях, снаружи не проявлялся. Теперь-то мне ясно, что никого из моих друзей, а может быть, и вообще никого на свете, не миновала эта беда.

Тогда я не замечал ничего особенного в наших отношениях с этим молодым человеком: для меня он был одним из хороших друзей-учеников, вот и все. И лишь недавно я понял, что в действительности все было сложнее. Очевидно, он много лет сдерживал в себе какое-то раздражение, и в один прекрасный день оно вдруг выплеснулось наружу. Я совершенно не был к этому подготовлен. В самом деле, неожиданное открытие — через двадцать лет после того, как он, собственно, был моим учеником. И только тогда я догадался соотнести то, что происходило на моих глазах, с одним «незначительным обстоятельством», давно забытой мелочью. В ту пору, когда мы с ним более или менее регулярно встречались и работали вместе, он достаточно долго (возможно, до самого конца — то есть несколько лет кряду) испытывал передо мной какую-то «робость». Ее всегда можно было узнать по безошибочным признакам. В ходе работы, впрочем, эти признаки довольно быстро исчезали. Замечая их, я, конечно, всегда чувствовал себя неловко и понимал, что его самого они смущают еще сильнее. Разумеется, мы все равно всякий раз продолжали беседу как ни в чем не бывало. Ни одному из нас не приходило в голову об этом заговорить — да что там, даже наедине с собой ни я, ни он (я уверен) не решались обратить внимание на это странное обстоятельство, а ведь оно явно заслуживало интереса! К этой, ничем не объяснимой, «робости» мы оба относились одинаково — как к обыкновенной «помехе», нелепости, не имеющей права на существование. Пресловутая «помеха», конечно, не упускала случая напомнить нам о себе при каждой встрече. Но она же имела приятное свойство исчезать, оставляя нас в покое всякий раз, когда речь заходила о серьезных вещах, то есть о математике. И мы сразу же с чистой совестью забывали о том, что, на наш взгляд, «не имело права на существование». Не помню, чтобы я хотя бы однажды задумался о причине этой «робости», о том, какую роль в наших взаимоотношениях играет эта «помеха». Я убежден, что тот мой друг и ученик, в свою очередь, также никогда (даже мысленно) не задавался подобными вопросами. Наше воспитание, все, что окружало нас с самого раннего детства, могло подсказать нам только один ответ на вопрос о том, как держать себя в подобной ситуации: если ты в разговоре испытываешь неловкость, ты должен *отстраниться* от нее, закрыть на нее глаза, не замечать ее до тех пор, пока чувство стесненности не исчезнет само собой. В нашем случае это оказалось возможным; более того, фокус удавался нам достаточно легко и ловко, что вполне устраивало нас обоих.

В последние два-три года мне не раз довелось убедиться в том, что неприятные вещи не перестают существовать только от того, что ты закрываешь на них глаза. Подтверждения оказались более чем реальны, и от них уже так запросто не отмахнешься, не отстранишься...

28. До своего первого «пробуждения» в 1970 я всегда думал о своих учениках, об отношениях с ними, вообще о своей работе, с чувством радости и удовлетворения. Это была одна из существенных, осязаемых, неопровержимых в своей реальности основ, на которых покоилось жившее во мне ощущение гармонии. Оно наполняло мою жизнь смыслом — а в моем доме тем временем бушевала настоящая стихия, охотясь за человеческим теплом, разрушая семейные связи. Но в своих отношениях с учениками, повторяю, я не замечал в то время ни малейшего намека на ссору. Там все было тихо; с тех времен я не припомню ни единого, пусть бы и мимолетного, укола разочарования или горечи. Может показаться странным, что конфликт (в моих отношениях с одним из учеников) всплыл на поверхность, сделавшись явным, как раз после моего пресловутого пробуждения. Ведь оно резко изменило мою жизнь, как бы раскрыло меня навстречу внешнему миру. Благодаря ему я стал мягче — и уступчивее, быть может; казалось бы, эти свойства помогают человеку избегать конфликта и разрешать споры.

Однако, присмотревшись, я обнаружил, что это противоречие — мнимое: вблизи оно исчезает, под каким углом к нему ни подойдешь. Первое же, что пришло мне в голову по этому поводу: для того, чтобы конфликт мог разрешиться, нужно, чтобы он сначала в чем-либо проявился — иначе как лечить скрытые болезни? Когда конфликт вынашивается где-то в глубине душе, когда все вокруг стараются сделать вид, что его нет, это значит, что он втайне растет и ждет своего часа. Конфликт зреет, выходит на поверхность, становится открытым. Но и на предыдущей, скрытой, стадии он, в той или иной форме, не может не проявляться. И тогда его разрушительная деятельность еще эффективнее: ведь ее подчеркнуто не замечают, ей не препятствуют. И еще: различия в социальном статусе, хотим мы того или нет, устанавливают между людьми определенную *дистанцию*. Для того чтобы конфликт мог проявиться в полной мере, необходимо, чтобы она исчезла или хотя бы уменьшилась. Как раз в этом направлении — уменьшения дистанции, выхода из изоляции — работали перемены, происходившие со мной в последние годы. «Пробуждения» приходят в мою жизнь непрерывной чередой вот уже почти пятнадцать лет кряду. И, конечно, одно дело — решиться выразить свое недовольство авторитетному научному руководителю, на которого смотришь снизу вверх, и совсем другое — выяснять отношения с человеком, уже оставившим (по своему выбору или силою обстоятельств) высокое положение в научном мире. Все изменилось: тот, кто являл собою чуть ли не воплощение некоей священной сущности (самой математики, как она есть), вдруг удалился от своего «высокородного», влиятельного окружения, снял регалии, осел в деревне. Из символа он постепенно становится просто человеком — таким же, как все. Его можно обидеть; броня авторитета, защищавшая его от ударов в прежние времена, понемногу тает и исчезает. Наконец, третье и самое главное: с точки зрения окружающих, с момента моего первого пробуждения со мной происходило нечто непонятное. Я стал вести себя совсем иначе, чем раньше; мое поведение вызывало вопросы и, вероятно, будило дремавшее в потайном углу беспокойство. Это нарушало порядок в идеально обустроенной маленькой вселенной, где всем заправляли мои давние ученики. Я и сам не раз ощущал тогда возникавшую вокруг меня неловкость, причем не только среди учеников. Все это распространялось и на моих прежних товарищей, и даже на многих коллег, знавших меня не более чем понаслышке.

Надо сказать, что разрешить сколько-нибудь глубокий конфликт в жизни удается очень редко. Чаще всего, несмотря на все видимые перемирия, в глубине все остается по-старому. Свита застарелых ссор и конфликтов неотступно тянется за нами по пятам; надежда на отдых брезжит невеселым огоньком лишь в дверях похоронного бюро. Несколько раз мне удавалось в какой-то мере распутать сложные отношения — иногда даже исчерпать конфликт до конца. Но внутри математического мира ни с учениками, ни с прежними товарищами мне в этом смысле никогда не везло. Вполне вероятно, что так ничего и не разрешится, проживи я еще сто лет.

Уйдя из IHES, я тем самым как бы порвал со своим прошлым. Ведь именно в этом институте началась жизнь микрокосма, сформировавшегося вокруг меня в математике. Примечательно, что как раз на этот, важнейший для меня, момент моего разрыва с прошлым, пришелся первый случай открытого столкновения: давно зародившееся у одного из моих учеников раздражение (по отношению ко мне) вышло наружу. Конечно же, весь эпизод в целом оказался из-за этого еще горше, еще болезненней: как если бы тяжелые роды по стечению обстоятельств проходили в особенно трудных условиях. Я, захваченный врасплох, не понимал тогда смысла того, что происходило у меня на глазах; разумеется, сейчас события тех времен мне представляются в совершенно ином свете. Долгое время меня, в мыслях о прошлом, не покидал горький осадок — след той печальной неожиданности. И однако, не позднее, чем летом того же года, мой невеселый уход вдруг явился мне, как освобождение. Словно от небольшого толчка распахнулась настежь тяжелая дверь — и взгляду внезапно предстал новый, неожиданный мир, зовущий к открытию. И с тех пор каждое новое пробуждение несло мне, в свою очередь, и новое освобождение: вдруг обнаруживаешь в своей душе несброшенный балласт — еще одну стену, за которой ты не бывал, но которую можно сломать. А там — неизвестное, все это время скрывавшееся за ложной маской привычного, то есть чего-то, что на первый взгляд «и так ясно».

Но, как бы то ни было, огорчение остается огорчением. Конечно, мне как математику в отношениях с коллегами не раз и не два случалось переживать неприятные минуты. Но постоянный источник досады, неудовлетворенности, в моей жизни до сих пор только один — та сдержанная, любезная, непримиримая враждебность, вот уже пятнадцать лет неотступно следующая за мной по пятам ($^{23'}$). Наверное, я мог бы назвать его платой за свое первое освобождение — и за все те, что позднее пришли вслед за ним. Но я слишком хорошо знаю, что зрелость и внутренняя свобода не достаются за плату; в графы «прихода» или «расхода» не вносят такие слова. Иными словами: когда зерно созрело, и закончен сбор урожая, «расходов» и потерь не бывает. То, что казалось потерянным, оборачивается прибылью, идет в «приход» у тебя на глазах. Я же, как видно, еще не собрал своего урожая: дописывая эти самые строки, я чувствую, что солнце еще высоко, и работа не завершена.

29. Итак, 1970 годом для меня отмечен некий поворотный пункт в моей жизни. Ученики, которые начали приходить ко мне после этого «поворота», сильно отличались от тех, с кем я работал раньше. Да и сама среда провинциального университета была совсем не похожа на наше прежнее окружение. Всего двое студентов писали под моим руководством кандидатские диссертации. Остальные только писали курсовые работы или защищали дипломы. Следовало бы упомянуть здесь и тех студентов (их было довольно много), которые посещали мои «вводные курсы». На этих семинарах я старался дать слушателям представление о том, что такое научная работа. Получая возможность поразмыслить самостоятельно, без оглядки на учебники, студенты зачастую начинали задумываться над самыми неожиданными вопросами. Иногда им удавалось находить интересные, оригинальные методы их разрешения. Я заметил, что в факультативных мероприятиях — курсах, семинарах — активнее всего участвуют первокурсники. Напротив, студенты, уже проучившиеся несколько лет, под влиянием университетской обстановки утрачивают определенную свежесть восприятия. Их намного сложнее заинтересовать чем бы то ни было, они не любят смотреть на живые вещи своими глазами, предпочитая суррогаты из университетских пособий. Среди студентов, посещавших мои семинары, многие явно подавали надежды; они могли бы стать превосходными математиками. Ввиду общей обстановки в математическом мире я, однако, воздерживался от того, чтобы порекомендовать им эту дорогу — хотя их, похоже, влекло к математике, и не исключено, что они отличились бы на этом поприще.

Как правило, студенты приходили ко мне (на тот или иной факультативный семинар), чтобы подготовить диплом магистра. Тогда они обычно учились у меня не дольше года. Наши отношения, в целом, становились сердечными и непринужденными с первых же дней. Так у меня было и раньше с «официально признанными» учениками — всегда, если не считать одержимого навязчивой «робостью» молодого ученого, о котором я уже рассказал ($^{23''}$). Различие (далеко не единственное!) заключалось в том, что в Монпелье мое общение с учениками не всегда ограничивалось совместной научной работой. Как правило, мы с ними больше знали друг о друге и говорили уже не только о математике ($^{23^{\mathrm{v}}}$). Благодаря этому и недомолвок между нами почти не оставалось: я помню открытые, даже бурные ссоры. Среди моих прежних учеников «до 70-го» было двое, у которых в какой-то момент явно проснулись враждебные чувства по отношению ко мне. Я ощущал это постоянно; ошибиться было невозможно. И все же их раздражение никогда не выплескивалось наружу: не исключено, что они скрывали его и от самих себя. Зато после семидесятого года, работая в Монпелье, я трижды столкнулся с подобным же неприятием со стороны моих новых учеников — причем в двух случаях из трех оно вылилось в откровенную, резкую ссору.

С одним из этих молодых людей мы перед тем долгое время дружили; разругался он со мною как-то вдруг, без предисловий. К тому моменту он уже давно не был моим учеником. Конечно, я сам своим поведением мог подать повод для ссоры — но подозреваю, что в действительности его подтолкнула к этому застарелая досада, разочарование, в свое время не нашедшее себе выхода. Ведь его работу (на мой взгляд, превосходную) приняли в математических кругах намного хуже, чем он, по справедливости, мог ожидать. Такова оборотная сторона сомнительной чести называться моим учеником «после 1970». В глубине души, сам того не осознавая, он, вероятно, винил меня в своих неудачах.

Разрыв с другим учеником, после полутора лет совместной работы (до тех пор как будто протекавшей в самой сердечной обстановке), также явился для меня неожиданностью. Я не помню больше ни одного случая, чтобы ученик поссорился со мной в то время, когда мы с ним еще работали вместе. Разумеется, после этого нам пришлось позабыть о математике — а ведь начинали мы, что называется, под счастливой звездой: тема была превосходная, работа так и горела в руках. Что-то подсказывает мне, что этот молодой ученый в глубине души был не уверен в себе (сам я в его силах нисколько не сомневался). Быть может, он и рассорился со мною лишь затем, чтобы оправдать в своих глазах будущие неудачи: беглец сорвался с места раньше преследователя, спасаясь от какого-то призрака — или от собственной тени. Я, как руководитель, возлагавший на него надежды, стал для него невыносимым. С ужасом ожидая провала, он поспешил заранее снять с себя ответственность за еще не случившуюся беду ($^{23'''}$).

За все последние двадцать пять лет конфликт, когда-либо возникавший между мной и моими учениками, неизменно пронизывала определенная *амбивалентность*. Раскол начинался исподтишка посреди явной взаимной симпатии и всегда давал о себе знать неожиданно, «задним числом». Я мог бы даже сказать, что и во время самой жестокой ссоры моя особа, внушая ученику враждебные чувства, по-прежнему сохраняла для него некую «притягательность». Однако, эта же притягивающая сила одновременно вызывала у него раздражение, постоянно подливая масла в огонь. Раздражение, недовольство, обида могут проявляться по-разному: бывает, человек резко, со злостью отвергает все, что, в его представлении, с тобою связано. Напротив, бывает и так, что, скрываясь за ширмой дружеского уважения, самое беззастенчивое пренебрежение нет-нет да ужалит тебя (лишь подвернись подходящий момент) ловким, тонко рассчитанным ходом. Но, как бы это ни выглядело снаружи, во всех моих раздорах с учениками присутствовала эта притягивающая и тем сильнее отталкивающая сила — странная внутренняя противоречивость.

Не то, чтобы я сталкивался с нею только в отношениях с учениками. Напротив, с некоторых пор она то и дело (в самых разнообразных ситуациях) давала о себе знать. После смерти моей матери, когда мне исполнилось тридцать лет, эта двойственность словно бы следовала за мной по пятам. Она не миновала моей супружеской жизни, она рождала противоречия в моих отношениях с людьми — прежде всего с теми, кто был заметно младше меня. И в конце концов я подметил в своем характере какую-то особую склонность к отеческой роли (врожденную ли, приобретенную ли, сказать не берусь). Из меня, должно быть, вышел бы идеальный приемный отец — во всяком случае, у меня есть все необходимые качества! Образ отца мне к лицу: он как нарочно по мне скроен и сшит. И сосчитать не берусь, сколько раз мне приходилось выступать в этой почтенной роли по отношению к младшим приятелям (которые отнюдь не возражали). Как правило, вслух мы не говорили об этом (и даже не отдавали себе отчета в том, как распределяются роли), но бывало и так, что новоиспеченные «отец» и «сын» (или «дочь») впрямую признавали друг друга. А иногда я и не подозревал, что тот или иной молодой человек воспринимает меня, как «отца».

Впервые я заметил, что веду себя по отношению к одному из друзей, как приемный отец, в 1972 году, в эпоху «Survivre et Vivre». Тогда между нами (едва ли не на пустом месте) возникла ссора, и этот молодой человек неожиданно резко высказал мне свою неприязнь. (Забавное совпадение: учился он на математическом отделении, но потом «сбежал» из университета.) Какой-то из моих поступков (к нему прямого отношения не имевший) вывел его из себя. Я, пожалуй, легко допустил бы, что я был неправ, что мне и впрямь не хватило тогда душевной щедрости — но его бешеное негодование просто оглушило меня. Он словно бы взорвался, задыхаясь в безумной ненависти — впрочем, вспышка утихла сама собою, как только стало ясно, что поставить меня в тупик таким способом не удается. (Честно говоря, в какой-то мере он все же сбил меня с толку, хоть я тогда и не подал виду...) И почему-то я сразу почувствовал, что дело было, по сути, совсем не во мне. Пустячная история так возмутила юношу именно потому, что он смотрел на нее в свете своих (по-видимому, непростых) отношений с отцом. Мой «образ» он попросту выдумал, и в своем воображении перенес на него свои прежние (еще детские, быть может) обиды, за которые я, конечно же, не мог отвечать. Впрочем, об этой внезапной догадке я вскорости позабыл и в дальнейшем все с той же беспечностью давал волю своим отеческим чувствам. И всякий раз, когда это приводило к ссоре (то скрытой, то явной), я, огорчаясь и недоумевая, не верил своим глазам.

Мне понадобилось шесть или семь месяцев уединенного размышления, чтобы добраться до сути этого вопроса и понять, в чем я тогда ошибался. Я думал о жизни моих родителей, и она под конец развернулась передо мной в неожиданном свете. Я понял, что, вступая в роль приемного отца для своего младшего друга, человек с неизбежностью себя обманывает. Ведь он тем самым берется (конечно же, из лучших побуждений!) заменить новоиспеченному «сыну» (или «дочери») его (или ее) природных родителей. То обстоятельство, что настоящий отец молодого человека жив, здоров и не нуждается в том, чтобы кто-либо со стороны его дублировал, — молча, по обоюдному соглашению, отодвигается куда-то на задний план. Но тогда у «приемного дитяти» появляется возможность перенести застарелый конфликт (со своим отцом, например) оттуда, где он возник в действительности, на свои отношения с кем-то посторонним (в данном случае, со мной).

Моя медитация продолжалась с августа 1979 года по март 1980-го. Проведя все это время в размышлениях, я стал осторожнее, бдительнее по отношению к себе самому. Мне уже не хотелось бы снова, закрыв глаза, шагнуть в западню, вырытую моими отеческими инстинктами. Это совсем не означает, что недоразумений подобного рода на моем пути с тех пор не встречалось (достаточно вспомнить о том талантливом ученике, от которого мне пришлось отказаться). Но я сам, как мне кажется, больше не старался взять на себя эту роль, и в этом смысле никому не подыгрывал.

Если оставить в стороне историю с учеником, обманутым в своих законных надеждах, то можно с уверенностью сказать, что все мои ссоры с кем-либо из учеников, бывших или настоящих, разыгрывались по одному и тому же сценарию. Всякий раз, поднимаясь из глубин подсознания, пробуждался и вступал в действие один и тот же, знакомый всем архетип. Извечная война сына с Отцом — грозным и обожаемым, любимым и ненавистным — с Человеком, которого необходимо вызвать на бой, одолеть, вытеснить из жизни; унизить, быть может... Но Он же — тот самый, кем сыну втайне мечталось бы стать, отняв Его силу и присвоив себе. Отец — твое второе «Я», твой собственный грозный двойник; встретив в зеркале, отшатнешься, побежишь в страхе...

30. Едва ли крутой поворот в моей жизни, о котором я уже много раз упоминал на этих страницах, в свое время поднял бурю из ничего: пригнал грозовые облака на идиллически ясное небо — и в одно мгновение восстановил против меня несколько бывших учеников. Скорее, то, что скопилось у них в душе против меня, благодаря событиям семидесятого года нашло себе выход. Нормы отношений «учитель — ученик» (или «бывший учитель — бывший ученик») у математиков заданы достаточно жестко, так что открытому раздору здесь просто нет места. Хотя конфликты подобного рода (между учеником и его научным руководителем), судя по всему, нередки в научной среде, все же они, как правило, протекают «скрыто» и остаются в тени. Зато выйдя за рамки привычных норм, я тут же испытал на себе всю силу долго копившегося раздражения, вылившегося на сей раз в открытую вражду.

Сейчас, вспоминая об этом, я не думаю, чтобы в те давние годы я старался быть «отцом» своим ученикам. Что касается *меня*, то все мои помыслы и побуждения, по сути, были связаны с математикой. Для меня взаимоотношения с учениками означали прежде всего совместную работу: все вместе, мы трудились над осуществлением одной обширной программы. В те годы я помню только один случай, чтобы ученик по-человечески заинтересовал меня не меньше, чем наше с ним общее дело. Это было как родство душ; между нами сразу возникла дружеская привязанность — но свои чувства к нему я не назвал бы «отеческими». С другой стороны, о том, какое влияние я на него оказывал (да и вообще о том, как меня самого воспринимали ученики), мне никогда не приходило в голову поразмыслить (я и по сей день редко задумываюсь о подобных вещах). Спору нет, отношения учителя с учениками никогда не бывают «симметричными» — по крайней мере, во всем, что касается «ремесла» (а может быть, и вне этих рамок). «Мастер» занимает в жизни ученика совершенно особое место, так что силы, вступающие в игру с обеих сторон, просто нельзя сравнивать. В пяти-шести случаях, когда эти силы у моих (тогда уже бывших) учеников вылились в откровенную враждебность по отношению ко мне, я по крайней мере хоть в чем-то сумел разобраться. В остальном же, природа этих сил, как и вообще чувства, которые испытывают ко мне мои ученики, для меня и по сей день (несмотря на двадцатипятилетний опыт преподавания) — неразрешимая загадка. Впрочем, ключ к этой загадке предназначен им, а не мне: каждый из них может разрешить этот вопрос для себя, и никто другой им здесь не советчик. Другое дело, что если уж человеку придет в голову заглянуть в собственную душу, то он, без сомнения, обнаружит там куда более волнующие тайны, чем этот странный, далеко не насущный, вопрос о своих чувствах к бывшему наставнику... Как бы то ни было, даже если я сам не относился к своим ученикам «по-отечески», не исключено, что многие из них все же видели меня именно в этой роли. Во-первых, как я уже упоминал, роль приемного отца как нельзя лучше подходила мне по характеру; во-вторых, как говорится, положение дел располагало. Ведь я был для них, во всяком случае, старшим товарищем; у меня было больше опыта, и они должны были мне доверять.

Все это, без сомнения, придавало нашим отношениям с учениками особую окраску. В обычной жизни, вне математики, я довольно часто оказывался в роли «приемного отца». Иногда я делал это сознательно, в других случаях — сам того не замечая. При этом с «приемными детьми» меня с самого начала связывала лишь взаимная симпатия (и никак не узы родства). Что же до моих собственных детей, то они, конечно, сразу разбудили во мне отеческую жилку. С самого раннего детства они много для меня значили. По странной иронии судьбы ни один из них (а детей у меня пятеро) все еще не смирился с мыслью о том, что я — их отец. О жизни четверых из них, особенно в последние годы, я знаю достаточно много. Все это время часто думал о причинах нашего разлада. Какой-то резкий надрыв в их отношении ко мне — несомненно, лишь отражение более глубокого душевного раскола, стремления перечеркнуть в себе все, что они могли получить от меня в наследство. Но его истоки — тема совсем других размышлений: ведь беда уходит своими корнями глубоко, в их беспокойное детство, и дальше — в детство их родителей, и дальше, и дальше: цепь продолжается... Этот раскол переиначил их жизнь; их дети, в свою очередь, получат его в наследство... Но наш разговор — о другом.

31. Кажется, я успел, по большому счету, поговорить обо всем, что касалось наших взаимоотношений с другими математиками, моими коллегами и учениками, внутри нашей общей среды. (Подразумевается, конечно, период с 1948 года по 1970-ый.) Для завершения «обзора» осталось вспомнить кое-какие подробности из моего опыта общения с начинающими математиками, которых еще нельзя было назвать «коллегами» в полном смысле этого слова, и чьей научной работой я не руководил. Таким образом, речь пойдет о тех молодых ученых, с которыми я встречался более или менее регулярно на своих семинарах — в IHES, в Гарварде или еще где-нибудь — а также о тех, кто по какой-либо причине вступал со мной в переписку. Например, тот или иной молодой автор мог послать мне свою работу в расчете на комментарии — и, конечно же, на слова поощрения.

Контакты подобного рода с начинающими учеными — составная часть одной из ролей — конечно, не самых заметных — распределяемых между участниками игры на математической (да и на всякой научной) сцене. Спору нет, роль научного руководителя выглядит намного ярче и значительнее со всех точек зрения. Но, как я стал понимать позднее, оценка старшего со стороны в известном смысле столь же важна. В ту пору я еще не отдавал себе отчета в том, что эта роль для видного математика несет в себе долю *власти*, с которой нельзя не считаться; я стал задумываться над этим не раньше, чем шесть-семь лет тому назад. Властью же, как водится, можно распорядиться по-разному. В первую очередь, в твоих руках — возможность *ободрить* человека, подогреть его энтузиазм, поднять творческий стимул. Этой возможностью старший располагает всегда: как в случае явно блестящей работы (которую, быть может, немного портят погрешности в оформлении или недостаток «мастерства» у молодого автора), так и просто при виде большого, основательного труда. Но и в том случае, когда работа молодого ученого представляет собой лишь весьма скромный вклад в науку — пускай даже ничтожный, пусть и вообще никакой (с точки зрения зрелого математика, владеющего мощными техническими средствами, опытного и прекрасно информированного в данной области), — рецензент все же вправе поощрить и ободрить автора. Здесь критерий только один: если труд, предложенный тебе на рассмотрение, выполнен серьезно, с полной отдачей, то твои добрые слова заведомо не пропадут понапрасну. Так ли это — как правило, бывает ясно с первых же страниц.

Но бок-о-бок с той, первой, идет и иная власть: *отнять у человека уверенность в себе*, обескуражить его, огорошить. Ею также можно воспользоваться в любой ситуации, применить к любому труду. Эту власть (ведь она возникла не вчера и не третьего дня!) применил в свое время Коши по отношению к Галуа, а Гаусс — к Якоби. Наши грозные знаменитости никогда не пренебрегали силой своего оружия. Если эти два случая дошли до нас, не затерявшись в истории, то лишь потому, что у жертв высочайшего произвола на этот раз оказалось достаточно веры в себя и в математику, чтобы противостоять вердикту сильнейших мира сего (математического мира, более конкретно). Якоби подыскал себе подходящий журнал и опубликовал в нем свои идеи. Что же до Галуа, то ему послужили таким «журналом» страницы его последнего письма.

Сравнительно с прошлым столетием, малоизвестному математику в наши дни стало еще труднее добиться себе признания. И та власть видного ученого, о которой я говорил, сейчас вышла за грань сферы чисто психологической. На практическом уровне, это власть принять или отвергнуть чужой труд, то есть дать согласие на публикацию работы или в нем отказать. Прав я или нет, но мне представляется, что в «мое время», в пятидесятые и шестидесятые годы, такой отказ еще не был бесповоротным. Если в работе содержались результаты, «заслуживающие интереса», то автор всегда имел возможность добиться одобрения ее к публикации у другой знаменитости. Сегодня на это уже нельзя рассчитывать — при том, что найти хотя бы одного влиятельного математика, который согласился бы (дай Бог, чтобы в хорошем расположении духа!) просмотреть работу молодого автора, не заручившегося загодя солидной рекомендацией, стало намного сложнее.

В последние годы я видел не раз, как выдающиеся, влиятельные математики пользовались своей властью, чтобы «осадить» молодого автора, закрыть ему дорогу вперед. При этом отказ получали как большие, серьезные работы, которые, в интересах науки, кто-то так или иначе должен был сделать, так и смелые, яркие труды, где размах авторской идеи выдавал в нем оригинальность мышления и силу таланта. Было несколько случаев, когда человек, так распорядившийся своей неограниченной властью, оказывался одним из моих бывших учеников. Это — едва ли не самое горькое из всего, что мне как математику довелось пережить.

Но я снова отступаю от темы. Моя цель — разобраться в том, как я сам распоряжался своей властью в те времена, когда роль видного математика на научной сцене мне отнюдь не претила. Надо отметить, что после 1970 года, когда моя научная деятельность во всех своих аспектах переместилась на более скромный уровень, власть эта до конца не исчезла. Я стал преподавать в провинциальном университете, где мои студенты и ученики по-прежнему в какой-то мере от меня зависели. Кроме того, некоторые молодые авторы все еще присылали мне свои работы (хотя, конечно, гораздо реже). Но отложим это: для моей настоящей цели имеет значение лишь период до семидесятого года.

Что до моих отношений с учениками, то здесь, думается, одну вещь я мог бы сказать без каких бы то ни было оговорок. С той самой минуты, когда ко мне пришел мой первый ученик, и вплоть до сего дня, я неизменно старался сделать все, что в моих силах, чтобы прибавить им уверенности в себе на той дороге, которую они для себя выбрали ([23iv]). Даже в наши дни в отношениях между учеником и его научным руководителем это редко бывает иначе. «Наставники», располагающие средствами привлечь к себе самых одаренных учеников и хорошо подготовить их — с тем, чтобы в работе по освоению целинных земель математики заручиться поддержкой надежных помощников, — конечно же, особенно заинтересованы в том, чтобы молодые люди не теряли веры в свои силы. Но все-таки, хотя это и кажется невероятным, встречаются у нас авторитетные наставники, находящие удовольствие в том, чтобы подрывать такую веру в своих собственных учениках. Такие «учителя» стараются во что бы то ни стало загасить в чужой душе тот самый огонь, ту страсть, что сжигала в юности их самих. Бог весть, что за радость охватывает их при виде потухшей искры.

Но я снова отступаю от темы! Моя задача — с воспоминаниями наедине, прояснить для себя свои отношения с молодыми учеными, которые *не были* моими учениками. А ведь это уже совсем иное дело: в отличие, скажем, от удач ученика, успех постороннего человека нимало не льстит твоему самолюбию. Наоборот: когда видному ученому недостает настоящей душевной щедрости, разнообразные силы эгоистического толка почти неизбежно толкают его на то, чтобы огорошить чужака, отказать ему в одобрении. Думается мне, есть такой общечеловеческий закон — не больше, не меньше: честолюбивые желания, стремления доказать или подчеркнуть свою собственную значительность в этом мире, легче и полнее всего утоляются за чужой счет. Втайне, про себя, каждый знает, что возможность огорчить ближнего или даже унизить его прибавляет сладости любой власти; оказать же ему поддержку было бы намного скучнее. Этот закон проявляется с особенной резкостью под влиянием определенного рода чрезвычайных обстоятельств — на войне, например, или там, где много людей насильно собирают на маленькой территории: в тюрьмах, в психиатрических лечебницах, и даже в обыкновенных общих больницах в такой стране, как наша... Но и в самой что ни на есть повседневной обстановке каждому из нас доводилось видеть своими глазами, как действует этот закон. В обыденной жизни его ограничивают рамки сугубо *культурного* толка: в каждой культуре, в каждой среде формируется общепринятая точка зрения на то, какое поведение считать «нормальным» или «допустимым». Эти ограничения, конечно же, совсем иной природы, чем силы, играющие на нашем самолюбии. Откуда они вообще берутся? Игру тщеславия в нас может усмирить, например, простая симпатия к какому-нибудь конкретному человеку; еще лучше помогает общая установка на доброжелательность. Есть люди, для которых естественно радушно встречать всякого, кто бы ни пришел к ним с просьбой или с вопросом. Но таких встретишь нечасто; они — настоящая редкость в любой среде, в любом окружении. И, какова бы ни была природа пресловутых ограничений, то есть заслонов против разрушительных стихий тщеславия в нашей математической державе, за последние два десятилетия они, на мой взгляд, изрядно поизносились. Во всяком случае, везде, где я проходил, оглядываясь по сторонам, на месте былых крепостей стояли развалины.

Решительно, я поставил себе целью как можно дальше уйти от собственной темы! Мое размышление о самом себе и о моих отношениях с начинающими учеными, не работавшими под моим руководством, чуть было не превратилось на этих самых страницах в обзорную лекцию о нравах нынешнего столетия. Нравы нравами, но все же я думаю, что «закон», о котором я упомянул немного выше, в моих собственных отношениях с младшими математиками не проявлялся. Похоже, что у меня тщеславие (которого во мне было сколько угодно, никак не меньше, чем у других) вообще выражалось как-то иначе — я хочу сказать, не за чужой счет. (Я помню только один случай, из раннего детства, когда у меня была возможность самоутвердиться, унизив другого, и я ею воспользовался.) Тому есть свои причины, останавливаться подробнее на которых здесь, пожалуй, не место. Думаю, что, перебравши в памяти соответствующие воспоминания, я мог бы сказать, что мое отношение к другому человеку при прочих равных основывалось на доброжелательности. Когда я мог, я всегда старался помочь, поддержать, ободрить. Даже в своих отношениях с уже упоминавшимся «терпеливым другом», несмотря на их глубокую амбивалентность, я никогда не забывался до такой степени, чтобы ему (хоть бы и невзначай) навредить. (Я вполне мог бы это сделать, причем, как говорится, с полным сознанием своей правоты.) И мне кажется, что, если говорить о моих контактах с обитателями математического мира, я в целом придерживался в них все той же позиции общей доброжелательности. Конечно, она могла быть немного поверхностной — но это уже другой разговор. Во всяком случае, она в полной мере распространялась и на молодых, начинающих математиков. Независимо от того, были ли они в числе моих учеников, в случае нужды они могли рассчитывать на мою поддержку и поощрение.

Думаю, что именно так, без каких-либо оговорок, дела обстояли в пятидесятые годы — и вплоть до начала шестидесятых. Мне кажется, что в те времена я был, по возможности, приветлив со всеми — и не только с такими явными, ослепительно яркими юными талантами, как, скажем, Хейсуке Хиронака или Майк Артин (впрочем, к тому моменту они и сами, с точки зрения статуса в научном мире, ничем не выделялись, так что их имена, конечно, еще не были на слуху). Но не исключено, что позднее, в шестидесятые годы, тщеславие, войдя в силу, стало подтачивать мои прежние установки. Самому мне сейчас об этом трудно судить, и если бы кто-нибудь из тех, кто тогда имел со мной дело, помог мне разобраться в воспоминаниях тех лет, я был бы ему очень признателен.

Пока что мне ясно вспоминается только один случай, свидетельствующий о том, что моя всегдашняя установка на доброжелательность в шестидесятые годы всерьез пошатнулась. В остальном — пресловутый «туман», смутные образы из прошлого. Картина выходит расплывчатой, ”нащупать” в ней сколько-нибудь конкретные образы невозможно. И все же от нее остается некое общее впечатление: в нем — все тот же намек на тогдашнюю перемену в моей внутренней позиции. В борьбе с собственной памятью я как бы заново пережил определенное раздражение, которое в то время испытывал всякий раз, когда кто-нибудь посторонний (из математиков) без спроса «забирался в мой огород» и принимался неумело хозяйничать на моей территории. Взгляните: он явно чувствует себя как дома, этот молокосос! И впрямь, подобные вещи, как правило, случались только с молодыми, начинающими математиками. Еще не слишком ясно представляя себе общую ситуацию, кто-нибудь из них нет-нет да и вздумает переоткрыть то, что мне уже много лет как было известно. Не то, чтобы это происходило слишком часто: всего два-три раза, наверное; возможно, четыре — за точность не поручусь. Как я уже говорил, мне хорошо запомнился только один такой случай — вероятно, потому, что одна и та же история повторилась тогда, немного меняя форму, несколько раз, причем с одним и тем же молодым математиком. Должен сказать, что этот молодой ученый (университет, при котором он работал, находился в другой стране) вел себя во всех отношениях безупречно. Я считался ведущим специалистом в той области математики, из которой он почерпнул свою тему; поэтому, закончив свою работу, он послал ее мне. Так он делал несколько раз; я же, по причине, упомянутой выше, всегда отвечал ему довольно прохладно. Не могу вспомнить, сказал ли я ему откровенно, что в этих работах он переоткрыл то, что мне было известно Бог весть с каких времен, и что мне по этой самой причине досадно его намерение опубликовать их, даже не упомянув моего имени в предисловии. Разумеется, будь он моим учеником, мое авторское самолюбие в такой ситуации уже не взыграло бы. Во-первых, между нами уже установились бы достаточно теплые отношения, чтобы можно было не замечать мелочей. А во-вторых, ведь со всех точек зрения более чем естественно, что в работе ученика должны содержаться идеи его научного руководителя — по умолчанию, если не оговорено обратное! Но он был человеком со стороны, а это, конечно же, меняет дело. Так что оба раза (а может быть, ситуация повторялась трижды, не помню точно), когда он посылал мне свою работу в ожидании комментариев, я отвечал ему в равно холодной и обескураживающей манере. Если не ошибаюсь, я ни разу не согласился как рекомендовать статью этого ученого к публикации в научном журнале, так и войти в состав жюри, когда он защищал свою диссертацию (кажется, я припоминаю, что такой вопрос тоже поднимался). Это выглядело так, как если бы я над ним откровенно насмехался. Вдобавок ко всему, работы, которые я от него получал, были вполне осмысленными и полезными с математической точки зрения. Думаю, что они были выполнены тщательно, с настоящим душевным усердием. И уж во всяком случае у меня нет ни малейших оснований предполагать, что идеи, развиваемые в этих работах, он позаимствовал из чужой головы. Да, у меня они появились намного раньше — но в то время они еще отнюдь не «носились в воздухе». Они считались (более или менее) «хорошо известными» лишь в самом узком кругу математиков, который составляли Серр, Картье, я и еще один-два человека. И для меня остается совершенно непостижимым то, что этот молодой ученый (он, конечно, в конце концов защитился и нашел себе хорошее место в одном из университетов) продолжал ко мне обращаться — несмотря на то, что я с ним всякий раз так «холодно обходился». Кажется, он на меня совсем не сердился. Я даже припоминаю, как он однажды выразил мне свое удивление перед тем, что я так старался держать его на расстоянии; очевидно, он просто не понимал, что происходит. И, наверное, он в самом деле очень старался понять, если спросил моих объяснений! На вид он казался совсем юношей; у него была красивая голова, наводившая на мысли об античной скульптуре. Черты лица — скорее мягкие, неброские, из тех, что свидетельствуют о внутренней, душевной умиротворенности их обладателя… Сейчас, когда я впервые попытался передать словами свое общее ощущение от его лица — и от характера, от того, как он себя держал — я вдруг понял, что он был очень похож на моего «терпеливого друга», того самого, о котором я уже говорил. Они, кажется, могли бы быть братьями — мой приятель и ровесник, по характеру такой весельчак, и тот юноша, двадцатью годами младше; он, пожалуй, выглядел серьезнее, но унылым его уж точно не назовешь. Не исключено, что это странное сходство сыграло свою роль в нашей истории: обезоруженный проявлениями самой искренней дружбы со стороны первого из них, я перенес свое (незаслуженное!) пренебрежение к нему на второго — в общем, незнакомого мне человека. А ведь, если судить беспристрастно, он был, без сомнения, очень приятный, располагающий к себе юноша; он лишь старался сделать, как лучше, и никогда не позволял себе быть навязчивым. Каким же я стал толстокожим за эти годы, если его искренность и прямодушие не тронули меня тогда, не растопили ненужного льда между нами. Он обратился ко мне, говоря доверчиво и открыто; у меня же не нашлось для него простой улыбки…

32. Этот случай (теперь, когда я, наконец, дал себе труд черным по белому изложить происшедшее на бумаге) представляется мне весьма существенным. Нет сомнений, что моя внутренняя установка на доброжелательность и уважение к собеседнику становилась в те годы все более шаткой и ненадежной под влиянием набиравшего силы тщеславия. И та история с молодым ученым, по незнанию «вторгшимся в мои владения», быть может, лучшее тому свидетельство. Еще раньше я упоминал о трех других (очевидно, типичных) случаях в моей жизни, когда мое самолюбие, разыгравшись, явно восторжествовало над естественной, природной доброжелательностью. Но этот последний, четвертый, отличается тем, что на сей раз в моих руках была реальная власть, и я ею воспользовался. Я мог бы поддержать молодого ученого — и предпочел его огорошить, отказавшись рекомендовать к публикации его труд, который, однако, отвечал всем научным стандартам. Подобный поступок нельзя назвать иначе, как открытым *злоупотреблением властью*. Пускай он не подпадает под статью уголовного кодекса; акт злоупотребления налицо, и ошибиться на этот счет невозможно. К счастью, общая обстановка в научном мире была в те годы мягче сегодняшней, так что молодой ученый все же смог (думаю, без особого труда) опубликовать свою работу. Кто-то принял его приветливей, чем я, и не отказал ему в заслуженной рекомендации. Его карьера, в общем, не пострадала от моей необоснованной выходки. Постфактум, как говорится, я очень этому рад, хоть и не ищу здесь для себя «смягчающих обстоятельств». Не исключено, что в более жестких условиях я дал бы себе труд подумать о возможных последствиях моего отказа — но ведь это всего лишь предположение, а предположить можно все, что угодно. Мне кажется, что, хоть я и был тогда раздражен, сознательного желания навредить «обидчику» у меня все же не было. Я действовал без какого-либо тайного умысла, просто не задумываясь. Чисто рефлекторная реакция на раздражитель, и при этом никакого желания понять, отчего же, собственно, сработал злосчастный рефлекс. В полной мере распоряжаясь своей властью, я, однако, не отдавал себе отчета в том, насколько она реальна, и какие явления социального толка за ней стоят. Это — типичный случай *безответственного поведения*, с каким в научном мире (да и вообще повсюду) сталкиваешься на каждом углу.

Возможно, что подобных историй тогда со мной было несколько; если мне запомнилась только одна, значит, она чем-то особенно выделялась среди прочих. Общая тема ясна: какой-то «первый встречный», не испросив разрешения, выходит на охоту в твои угодья, и возвращается с дичью, принадлежащей по праву лишь тебе, хозяину этих мест… Неловко затронутое самолюбие разыгрывается вовсю, и тогда — какая уж тут доброжелательность! Свое раздражение перед неосторожностью неопытного юнца всегда можно объяснить самыми благородными причинами. И впрямь, дело не в моих личных обидах: любовь к искусству, к самой математике, вот что сейчас мною руководит! Будь еще этот юноша гением, его рассеянность можно было бы как-то извинить. Но куда там, он просто неуклюжий браконьер. Этим он опасен всем нам; да что там, пусть бы он придумал что-нибудь новое или хотя бы сделал что-то иначе, лучше, чем я. Так ведь нет: он, изволите видеть, «открыл» какие-то пустяки, уже сто лет как мне известные; я и объявить-то о них в свое время не потрудился. Экая, в самом деле, бесцеремонность… И, конечно, то там, то здесь, с неизменной настойчивостью, лейтмотивом всплывают мыслишки меритократического толка: на мои работы вправе ссылаться лишь лучшие из лучших (такие, как я) — или, по крайней мере, молодые люди, заручившиеся поддержкой кого-нибудь из знаменитостей. (Конечно, случись кому-нибудь из «китов» самому забрести в мои владения, я едва ли поведу себя чересчур гостеприимно — но ведь это же совсем другое дело. К тому же, подобные вещи вообще происходят намного реже. Раз на раз не приходится, и одной заботы в день нам с лихвой достаточно.) В истории с тем молодым ученым была, без сомненья, по крайней мере одна особенность, выделявшая ее из числа прочих. Где-то на подсознательном уровне во мне скрывалось отвращение к определенному типу человеческого характера. Оно исподтишка проникло в мои отношения с «терпеливым другом» с первых же дней нашего знакомства. Еще от матери я унаследовал известные представления о том, что такое «мужественность»; вместе с тем, в характере моего друга — как и среди личных свойств того молодого математика — явно ее недоставало. Все это мне полезно понять для того, чтобы вернее разобраться в себе самом; но с точки зрения моей нынешней задачи это наблюдение, в общем, ничего не прибавляет. Ведь я завел весь этот разговор с тем, чтобы отыскать в самом себе, в своих тогдашних взглядах, в своем поведении, наконец, типичные признаки того глубокого нравственного, духовного упадка, в котором сегодня пребывает наш (впрочем, теперь уже не мой...) математический мир.

Как бы то ни было, среди всех прочих ситуаций, когда мне явно недоставало доброжелательности или уважения к своему ближнему, тот случай, который я только что исследовал, мне кажется особенно важным. И вот почему: тогда, в той истории с начинающим ученым, я пренебрег *элементарной этикой* математического ремесла ([24]). В той среде, где меня приняли так радушно, когда я сам только начинал заниматься наукой — то есть в группе Бурбаки и в ближайших к ней кругах, — этика, о которой я говорю, вслух обычно не обсуждалась. Но при этом ее живое присутствие ощущалось ясно; правила ее, для всех равно священные, опирались на всеобщее негласное соглашение. Насколько я помню, только один человек при мне четко и ясно сформулировал их в разговоре. Это был Дьедонне. Беседа об этом зашла, когда я (в один из первых своих приездов) гостил у него в Нанси. Не исключено, что он впоследствии еще несколько раз возвращался к тому же вопросу. Очевидно, ему это казалось важным; я и сам, должно быть, почувствовал тогда, как много значения он придавал этой теме, если не забыл его слов за добрых тридцать пять лет. Мои старшие коллеги обладали для меня непререкаемым моральным авторитетом, а Дьедонне тогда как бы говорил от имени всей группы. Этого для меня было достаточно, чтобы все услышанное, без оговорок, взять на вооружение. Однако же я сам ни тогда, ни после, ни разу не задумался над тем, почему, собственно, так важно соблюдать эти правила. Я, по правде сказать, вообще не видел для себя смысла в подобных размышлениях: ведь у меня никогда не было сомнений в том, что от родителей, людей — кто посмеет это оспорить — безукоризненной нравственности, я унаследовал все необходимые установки на честность, ответственность за свои поступки и проч. Все это — надежные позиции, прекрасные и проверенные во всех отношениях; исходя из них, я просто не могу ошибиться ([25]).

Дьедонне тогда не слишком распространялся; долгие речи были вообще не в ходу в среде Бурбаки. Должно быть, он обронил свое замечание мимоходом, как нечто само собой разумеющееся. Он всего лишь сделал упор на простейшее, самое безобидное с виду правило: *всякий, кто получит научный результат, заслуживающий интереса, должен иметь право и возможность его опубликовать, при том единственном условии, что этот результат еще нигде не опубликован.* Таким образом, даже если данный результат кому-то уже известен, но еще не появлялся в печати, любой человек со стороны, получивший его своими средствами, волен его опубликовать. Да, «любой» здесь вполне может означать «первый встречный»; да, его способ освещения проблемы может показаться ограниченным тем зрелым математикам, которые давно уже «в курсе дела» и не в пример лучше разбираются в нем... Но если они при этом в свое время не потрудились записать черным по белому свои соображения на этот предмет — тогда они не вправе помешать пресловутому «первому встречному» выступить в печати со своей точкой зрения на данную проблему. Кажется, я припоминаю, что Дьедонне добавил тогда: отказавшись от этого правила, мы тем самым открыли бы лазейку новым, худшим злоупотреблениям. Кажется, именно в тот раз я услышал от него историю о том, как Гаусс в свое время отклонил работу Якоби (под тем предлогом, что идеи, изложенные автором, самому Гауссу были давно известны).

Это простое правило — существенная поправка к «меритократической» позиции, на которой, вообще говоря, стоял не я один. Дьедонне, как и другие члены группы Бурбаки, были не менее склонны встречать человека «по заслугам». В соблюдении этого правила — гарантия *честности*. С радостью отмечаю (на основании всех откликов из большого мира, долетавших ко мне до сего дня), что профессиональная честность членов-основателей группы по-прежнему безукоризненна ([26]). И утверждаю, что другим математикам, позднее вошедшим в состав Бурбаки (или обретавшимся поблизости, в той же научной среде) не удалось пронести ее через годы, не покоробив. Я и сам ее не сберег.

Этики, о которой мне говорил Дьедонне — в деловых выражениях, безо всякой рисовки — в качестве этики определенной научной среды больше не существует. Точнее, утратив честность, как душу, сама среда рассыпалась в прах. В ком-то честность все же сохранилась; кто-то обрел или обретет ее вновь. В духовной жизни того или иного из нас решающие моменты связаны с ее уходом или возвращением. Но общая сцена уже переменилась неузнаваемо. Среды, принявшей меня когда-то и ставшей для меня как воздух, среды, принадлежностью к которой я втайне гордился, больше нет. Этику, молчаливо управлявшую ее жизнью, в какой-то момент вдруг стали открыто отрицать — на практике, в теории, щеголяя своими новыми кредо. Но задолго до этого она незаметно умерла во мне самом — или по крайней мере отступила неведомо куда под натиском сил совершенно иной природы. Я мог удивляться, возмущаться произволом, гулявшим вокруг, лишь по невежеству; намеренному, потому что я и не хотел ничего знать. То, что я слышал издалека о новых законах среды, бывшей когда-то моей, несло мне весть обо мне самом. Я же предпочел отложить письмо, не раскрывая конверта.

33. Говорить о правилах профессиональной этики имеет смысл лишь тогда, когда за ними стоит определенная внутренняя позиция. Нет такого закона, который заставил бы тебя уважать своего ближнего и обходиться с людьми по справедливости, если ты сам в глубине души настроен на другой лад. Пожалуй, если обстановка в той или иной профессиональной среде построена на уважении к человеку, то эти правила, единожды сформулированные, помогают ее закрепить — да и то лишь отчасти. Когда же люди теряют живую искру доброжелательности друг к другу, и в воздухе веет холодом — тогда, даже если самые благородные законы провозглашаются на каждом перекрестке, толку от них не больше, чем от потерявших силу заклятий. Самые подробные, самые тщательные толкования буквы закона ничего здесь не убавят и не прибавят.

Не так давно один из моих прежних друзей и товарищей любезно объяснил мне, что в наше время, при столь невероятном наплыве математических статей, ожидающих публикации, «человек» просто обязан (увы!) подвергать самому суровому отбору присылаемые ему на суд результаты; неважно, хочет он того или нет. Он произнес это с такой непритворной печалью, как если бы он сам, отчасти, оказался жертвой неотвратимой судьбы. С той же ноткой искреннего огорчения в голосе он продолжал о том, что он и сам (как это ни прискорбно!) входит в число тех «шести-семи человек во всей Франции», которые и решают, какие работы заслуживают публикации, а какие — нет. Я лишь промолчал тогда: с годами теряешь словоохотливость. Сказать в ответ можно было немало, но это был бы напрасный труд. Месяц или два спустя я узнал, что этот мой коллега несколько лет назад не пропустил в CR[8] одну (по моим представлениям, актуальную и по сей день) заметку, которая явно заслуживала публикации. Человек, написавший эту статью, был мне далеко не безразличен; тему для заметки я сам предложил ему семь или восемь лет назад. Два года он занимался развитием этой темы (спору нет, модной ее не назовешь…). Я считаю, что он потрудился на славу, написал отличную работу (она была представлена как дипломная). Я не следил за его работой: этот молодой и, как оказалось, блестяще одаренный ученый (впрочем, кто знает — не бросил ли он математику после такого приема?) писал свой труд без моей помощи, за

[8] Comptes rendus de l'Académie des Sciences — Доклады Академии Наук — *прим. перев.*

все два года ни разу не обратившись ко мне за советом. Другое дело, что догадаться о том, откуда исходит его тема, не составляло никакого труда — по крайней мере, для «посвященных». Бедняга: незащищенный, он попал под огонь, совершенно ни о чем не подозревая! Впрочем, надо отдать должное рецензенту: все необходимые формальности были соблюдены (меньшего я и не мог от него ожидать). Автор получил от него вежливое письмо: «...вынужден, к сожалению... искренне огорчен, но, ведь вы понимаете: объем журнала, ограниченность в средствах...» Итак, два года увлеченного, пылкого труда начинающего ученого против заметки в CR длиной в три страницы... Во сколько это обошлось бы общественным фондам? Нелепость вопроса бросается в глаза: усилия автора с одной стороны, и предполагаемая «награда» с другой явно несообразны. Без сомнения, во всем этом можно разобраться, если принять во внимание все силы, которые участвовали в игре. Никто, кроме моего прежнего друга и коллеги, не может заглянуть к нему в душу и разгадать причины, побудившие его тогда закрыть дорогу статье молодого автора — так же, как за свои чувства и побуждения отвечаю я сам, и никто другой. Впрочем, в одном я уверен: «невероятный наплыв» математических результатов, скудость общественных фондов или, скажем, забота о том, чтобы сберечь время воображаемого «неизвестного читателя» CR, — не более чем пустые предлоги.

Тот же самый проект заметки в CR в свое время был предложен на рассмотрение еще одному из «шести или семи человек во всей Франции». Этот видный ученый вернул работу научному руководителю автора, пояснив, что «не нашел в ней для себя ничего забавного» (дословно!). При случае я заговорил об этом с суровым «рецензентом». Оказалось, что он тогда внимательно прочел эту статью и даже дал себе труд над ней поразмыслить (надо думать, она пробудила в нем кое-какие воспоминания...). Он обнаружил, что некоторые утверждения можно было бы сформулировать иначе, так, чтобы потом их было удобнее применять. Однако, он не счел нужным уведомить об этом автора: в самом деле, тратить драгоценное время... И снова: пятнадцать минут знаменитого математика против двух лет труда никому не известного молодого ученого! Знаменитый математик, впрочем, все же нашел этот труд достаточно «забавным», чтобы возобновить свои размышления о его предмете. Эта тема у него, как и у меня, вызвала, без сомнения, множество разнообразных геометрических ассоциаций. Находки молодого автора он тут же принял к сведению и без труда (стоит ли удивляться — с *его* опытом и с *его* мастерством!) выявил огрехи и пробелы в предложенной работе. Он потратил время не даром: его представление об определенной математической ситуации стало точнее и глубже — благодаря работе, которую молодой ученый выполнил своими руками. Конечно, Мастеру хватило бы нескольких дней, чтобы разработать ту же самую тему (в общих чертах и без доказательств). Покончив с размышлениями о математике, именитый ученый вспоминает, кто он такой... Вопрос закрыт: двухлетний труд господина Безымянного отправляется в корзину для бумаг.

Все мы любим объяснять свои поступки самыми благородными побуждениями. Прекрасные истины можно провозглашать на всех углах, посвящать им воззвания и трактаты — но какой в том прок, если ветер презрения бушует повсюду, заглушая голоса, срывая афиши? Кто-то к нему привык, кто-то не замечает его, но у меня и по сей день от этого ветра перехватывает дыхание. Конечно, это был исключительный случай: не каждый день рецензенты отвечают авторам в таких изысканных выражениях! Но дело не только в этом. В той же беседе мой прежний друг поведал мне, не без скромной гордости, что он рекомендует заметки в CR только в двух случаях: когда предложенные результаты его поражают, или когда он не знает, как их доказать ([27]). Потому-то, без сомнения, он и не публикует почти ничего. Если бы ему вздумалось применить это жесткое правило к своим работам, он бы вообще ничего не публиковал. (Другое дело, что в его положении он в этом и не нуждается.) В математике он находится в центре научной жизни; удивить его, должно быть, непросто — как, впрочем, и придумать что-нибудь такое, что он не сумел бы доказать, при условии, что доказательство вообще существует. (И то и другое мне удавалось всего два-три раза за двадцать лет — да и то лет десять или пятнадцать назад!) Он явно гордился своими критериями «качества» научной работы. Еще бы: вооружившись ими, он становился в своих глазах рыцарем Великой Математики; его требовательность к чужому мастерству беспощадна. Но, глядя на него, я видел, что он, как водится, лишь потворствует в этом своим собственным прихотям, и что за его милыми манерами и скромной улыбкой скрывается безудержное высокомерие. А еще я видел, что, ставя себя выше своего ближнего, он получает от этого огромное удовлетворение.

Это тот случай, когда «новая этика» математического мира находит в лице одного из нас свое крайнее воплощение. И все же, в известном смысле, он весьма типичен для научной среды. Во всем этом есть какая-то невероятная, чудовищная нелепость: история о том, как двухлетний труд молодого ученого был отвергнут по капризу зазнавшейся знаменитости, звучит дико для постороннего уха. И кредо нашего великого математика, на котором он основывал свой отказ, слишком явно идет вразрез со здравым смыслом... Это несоответствие так велико, что ни тот мой прежний друг, с его выдающимся интеллектом, ни его коллеги чином пониже (которые из осторожности просто не посылают своих статей ему на проверку) по странной близорукости уже не замечают его. И в самом деле: чтобы увидеть, нужно сначала поднять голову и взглянуть. Зато, если человек всерьез надумает разобраться в чьих-либо побуждениях (в первую очередь, в своих собственных), то странная несообразность, о которой я говорил, рано или поздно остановит на себе его взгляд. А потом, если еще присмотреться, станет ясно, что несообразности нет и не было. Смысл всего происшедшего, скромный и очевидный, заговорит с тобой простым языком, в насмешку над мудрыми толкованиями.

В последние годы мне все чаще и чаще приходится сталкиваться с проявлениями «новой этики» в математической среде. Такие столкновения иногда бывают особенно болезненными. Это случается, когда я узнаю себя в том, что слышу и вижу перед собой — таким, каким я был много лет назад. Мои взгляды, мое поведение словно бы возвращаются ко мне из тех давних времен искаженными, нелепыми до гротеска. Порой я терял терпение, и во мне просыпался забытый было боевой дух: глядите, вот явное зло, его необходимо сейчас же искоренить! Но если я и шел на поводу у подобных мыслей, то всегда без настоящего убеждения. В глубине души я знал, что бороться — значит скользить по поверхности, боясь заглянуть в суть вещей. Мой долг — не в том, чтобы обличать пороки или стараться улучшить мир, и даже не в том, чтобы «улучшать» себя самого. Я живу для того, чтобы учиться, узнавать: познавать мир, изучая собственную душу — и, изучая мир, через его посредство познать себя самого. Принести пользу себе и другим я смогу лишь постольку, поскольку останусь верным своему предназначению. Жить в согласии с самим собой — вот и все, что требуется. Пора бы мне помнить об этом, и пускай эти старые воинствующие механизмы по привычке заводят в моей душе свою давнюю песенку! Говорится в ней, конечно, о том, что я должен стать на защиту погибшей морали, вызвать на бой «новую этику», пришедшую ей на смену... Но к истинному знанию, к открытию ведет только одна дорога; выбравший ее занят лишь тем, что *исследует* свои находки и дает им *описание*. Две-три предыдущие страницы я писал, не преследуя иной цели, кроме как сказать несколько слов о современных нравах в математической среде и о том, как они изменились за двадцать лет. И с каждой новой строчкой мне все сильнее хотелось все перечеркнуть и выкинуть в мусорную корзину. Однако, я сохранил эти страницы: даже если они создают у читателя ложное впечатление (будто я, обличая чужин пошоки, не нахожу их в себе самом), все же они написаны достаточно искренно. А уничтожить их мне хотелось именно потому, что, пока я их писал, я чувствовал, что так ничему и не научился. Решительно, здесь есть над чем поразмыслить — что ж, этим я и займусь. Довольно наставлять и убеждать других: ясно же, что сучок в чужом глазу всегда видней ([28]).

34. Похоже, что мой «обзор», по существу, завершен. Я тщательно перебрал свои воспоминания о том, как складывались мои отношения с математиками (всех возрастов и чинов) в те времена, когда я сам был еще добропорядочным обитателем математического мира. Я уже много раз говорил о том, как изменилась математическая среда с тех пор, как я впервые увидел ее вблизи. В ходе этого обзора мне хотелось прежде всего понять, какую роль я сам сыграл в этих переменах. Определенное настроение, не вдруг, но исподволь, постепенно, завладело умами. Я и спросил себя, в какой мере (своими поступками, выбором своего нравственного кредо и т.д.) я мог способствовать тому, чтобы этот новый дух так широко распространился в математическом мире, поглотив все и вся. В ходе этого размышления — или, лучше сказать, путешествия по дорогам прошлого, я четырежды столкнулся с одной и той же ситуацией, повторенной и перепетой на разные лады. Мне кажется, что она верно характеризует мои тогдашние взгляды, и в первую очередь — неоднозначность моих представлений о добре и зле, то, что называют «двойным стандартом». Четыре раза на моей памяти (а на деле, быть может, намного чаще) естественную доброжелательность к людям совершенно заглушали во мне силы иной природы: прежде всего, *самолюбие*. По-видимому, мне казалось, что мои умственные способности (по сути, развитая в постоянных упражнениях мозговая мышца) и «научные заслуги» (ведь я вкладывал в математические занятия все свои силы, не зная меры) дают мне право ставить себя выше других. Это представление вполне соответствовало общепринятой в те годы шкале ценностей в нашей среде. Интеллектуальные возможности и полная самоотдача в математике ценились у нас выше всего, практически без оговорок.

История с «юным неучем», или с «молокососом, который, не спросившись, забрался в мой огород», из всех четырех представляется мне особенно важной для моей настоящей цели. Три других главным образом характеризуют меня лично, мой собственный образ мыслей в такие-то и такие-то годы (так что их нельзя рассматривать вне контекста). Но, как я уже не раз отмечал, они совсем не характерны для обстановки тех лет в нашей среде. Не думаю также, чтобы они были особенно типичны для теперешней атмосферы в математическом мире — скажем, во Франции. Например, в случае с моим «терпеливым другом» увидеть вещи так, как они есть, мне явно мешало какое-то хроническое заблуждение. Сейчас я смотрю на это, как на болезнь — по-видимому, до сих пор достаточно редкую в любой среде. Напротив, мое поведение в случае с «юным неучем» было бы более чем естественно для сегодняшней обстановки в математическом мире. В наши дни сделалась редкостью именно ничем не обоснованная доброжелательность. Часто ли нынче встретишь влиятельного математика, который тепло, с уважением принял бы обратившегося к нему за поддержкой безвестного молодого ученого? Нет; разве только этот начинающий математик — его собственный ученик (да и то...) или рекомендован нашему светилу науки кем-нибудь не менее авторитетным и важным. До своего «пробуждения» в 1970 году я этих перемен просто не замечал. После я начал кое-что понимать: люди уже не боялись говорить со мной о подобных вещах. Тогда до меня стали доходить самые разнообразные свидетельства, что называется, «из первых рук», но поначалу я воспринимал их несколько отстраненно: ведь ни меня, ни моих ближайших друзей-математиков они напрямую не касались. Однако, начиная где-то с 1976 года, эти разговоры стали задевать меня сильнее: действующими лицами долетавших ко мне свидетельств (некоторые из этих историй, впрочем, разыгрывались у меня на глазах) все чаще оказывались мои друзья и даже бывшие ученики, понемногу приобретавшие влияние. А главное, «по ту сторону барьера», в ряду «безвестных», теперь уже стояли люди, мне далеко не безразличные. Не раз жертвами каприза «власть имущих» становились, опять-таки, мои собственные ученики — но, конечно же, ученики «после 70-го». Ведь именно в эти годы среди моих прежних друзей и прочих коллег стало хорошим тоном посмеиваться над моим направлением в математике, называя его не иначе, как «гротендичью». Молодой ученый, осмелившийся (не обязательно под моим руководством!) работать над какой-либо из «гротендиких» тем, уже тем самым обрекал себя на подчеркнуто недоброжелательный, если не откровенно презрительный, прием у высокопоставленных особ в математике...

Тот «юный неуч» снова обратился ко мне с письмом в начале семидесятых. В нем он очень вежливо осведомлялся (отметим, что он был вовсе не обязан этого делать!), нет ли у меня возражений против того, чтобы он опубликовал свое доказательство одной из теорем, которая, как ему сказали, принадлежит мне. (Эту теорему я, в самом деле, в свое время сформулировал; ее доказательство к тому моменту еще ни разу не было опубликовано.) Помнится, по своему обыкновению, я ответил ему весьма сухо. Не говоря ни «да», ни «нет», я дал ему понять, что его доказательство (которое он, конечно же, готов был мне сообщить — но я был слишком погружен в свою деятельность на общественной ниве, чтобы проявить к этому какой-либо интерес!) к моему собственному ничего не прибавит. Однако же, в этом я ошибался: опубликованное, напечатанное черным по белому доказательство (как и само утверждение) теперь могли прочесть другие люди — а это немало! Отсюда видно, как мало изменило меня пресловутое «пробуждение»: глубокие корни самодовольства в ней остались нетронутыми. А ведь как раз в то самое время я писал в «Survivre et Vivre» прочувствованные статьи о так называемой «меритократической позиции», обличал ее на всевозможных собраниях...

Не так давно я спрашивал себя, удалось ли мне тогда, в 1970 году, избавиться от самодовольства. Вот ответ — и, пожалуй, исчерпывающий. Приходится признать эту скромную истину: самодовольство отнюдь не ушло из моей жизни «раз и навсегда» в день моего пробуждения. Думаю, что, пока я жив, оно со мною останется. А если в тот день в моей душе и впрямь произошли перемены, то они заключались не в том, что те или иные черты моего характера якобы исчезли без следа, а в том, что появились новые. У меня возник (или вернулся ко мне?) интерес к себе самому, к тому, на чем в действительности основываются мои взгляды, мое поведение в тех или иных ситуациях и проч. Это-то любопытство и привело к тому, что я стал замечать, как тщеславие проявляется в моей жизни. Моя вновь обретенная чувствительность в свою очередь повлияла на работу каких-то внутренних механизмов. Теперь сила, называемая «тщеславием», не так опасна: ее проще держать под контролем. Природа же этой силы такова, что под ее воздействием искажается здоровое, непосредственное восприятие действительности; человек начинает без меры превозносить свои достоинства, пытаясь любой ценою поставить себя выше других. Иногда (например, в моем случае) человек при этом старается представить дело так, будто он — сама скромность, и благо человечества — его единственная забота.

Не найдет ли читатель здесь противоречия, не почувствует ли себя сбитым с толку? Ведь я и сам растерялся однажды, обнаружив, что *тщеславие* в моей профессиональной жизни и то, что я зову своей *любовью*, или *страстью*, к математике, во всем противоположны друг другу. Но, заглянув в собственную душу, не найдет ли и в ней читатель верных признаков того же противостояния? Если такая совместимость несовместимого и впрямь уводит почву из-под ног, то все же именно в ней мы обретаем необходимую связь с живой действительностью. Она позволяет нам увидеть вещи такими, как они есть, вместо того чтобы без роздыху, как пойманный бельчонок, вертеться в бесконечном колесе слов и концепций.

Вода в реке бывает мутной, но значит ли это, что вода и грязь — одно и то же? Чтобы увидеть воду без грязи, достаточно подняться к источнику: там, наверху, любуйся и пей вволю. Чтобы увидеть грязь без воды, нужно выйти на берег, иссушенный солнцем и ветром, наклониться и своей рукой отделить комок зернистой глины. Так амбиции и тщеславие чужды настоящей любви, но они могут сопутствовать ей — тем неотступнее, чем богаче вознаграждается страсть. Кое-что, в самом деле, зависит от них: в погоне за наградами страсть, смешанная с тщеславием, может стать всепожирающей. Но честолюбие, пускай самое пылкое, не в силах сотворить ничтожнейшей из вещей, совершить самое что ни на есть пустячное открытие! В ходе самого труда, когда понимание рождается понемногу, принимает форму, становится глубже, когда хаос оборачивается порядком — или когда вещи, такие привычные с виду, приобретают как будто странные свойства; присматриваешься ближе, беспокойство растет, и противоречие, наконец, выплескивается наружу, переворачивая с ног на голову твое представление о том или ином уголке мира, до тех пор казавшееся нерушимым, — словом, в то время, когда идет настоящая работа, тщеславие уходит со сцены. И тогда нечто особенное ведет в танце: оно выходит далеко за пределы нашего «я» с его бесконечным стремлением превознести собственную значимость (чем бы оно ни кичилось, «умением» или «знанием»), за пределы человеческой личности и даже, быть может, самого рода человеческого.

Таков источник, и каждый из нас может к нему подняться.

35. У меня в жизни было три главные страсти. И в конце концов я понял, что за ними, по сути, стояло одно и то же глубокое стремление. Это — стремление к познанию; три страсти — три дороги, на которых почему-либо остановился его выбор. А сколько было других возможностей, не сосчитать; ведь и мир бесконечен.

Первым из трех во мне проснулось влечение к математике. Когда мне было семнадцать лет (я только-только окончил лицей), меня заинтересовала эта наука. На вид это была вполне безобидная склонность, которой я и поддался. Однако, она довольно скоро переросла в настоящую страсть, и управляла моей жизнью ни много, ни мало — двадцать пять лет кряду. Я «познал» математику задолго до того, как познал свою первую женщину (если не считать той, с которой я был в такой непостижимо тесной связи с самого своего рождения). И надо сказать, что эта первая в моей жизни страсть, несмотря на годы, по сей день не утихла до конца. Она больше не управляет моей жизнью; от нее, как и от меня самого, в общем, ничего не зависит (и я уже не пытаюсь сделать вид, что это не так). Иногда ее зов становится тише, а подчас как будто и вовсе умолкает — но лишь с тем, чтобы в один прекрасный день вдруг заговорить снова, пылко, как никогда. Когда-то это была, что называется, всепожирающая страсть; но я уж больше не отдаю ей своей жизни на растерзание. И все же она оставила глубокий отпечаток в моей душе; думаю, годы его не изгладят. Так память любовника хранит образ первой возлюбленной, не замечая прошедших лет.

Поиск женщины — вторая страсть в моей жизни. Искать женщину, вообще говоря, не то же самое, что искать для себя подругу или жену; мне удалось взять это в толк не раньше, чем самый поиск для меня завершился. Это случилось со мной, когда я понял, что то, что я искал, найти невозможно. И не нужно, потому что всю дорогу я носил истинный объект своих поисков в себе самом. Страсть к женщине заговорила во мне в полный голос лишь после того, как умерла моя мать (и пять лет спустя после моей первой любовной связи, от которой родился сын). Тогда, двадцати девяти лет от роду, я и женился; у нас появилось трое детей. Привязанность к детям оказалась для меня неотделимой от любви к их матери. Полюбив женщину, ты чувствуешь, что от нее исходит некая сила; неведомое силовое поле действует на тебя, притягивает к источнику. Привязанность к общим с ней детям — часть этой силы.

Эти две страсти во мне с самого начала между собой жили мирно, не вступая в конфликт. Вероятно, в глубине души я ощущал близкое родство между ними. С появлением в моей жизни третьей страсти (не раньше) я, наконец, ясно увидел связывающие их нити, и в полной мере ощутил глубину их единства. Все это так — но все же страсть к математике и любовь к женщине, взятые по отдельности, влияли на мою жизнь совершенно по-разному. Первая из них завела меня в некий странный мир, все обитатели которого — математические объекты. Конечно, это совсем не призраки в воздушных замках: в мире математики все настоящее, у него есть своя реальность. Но иная; мы, люди, живем по другим законам. Глубоко вникнув в математическое мироустройство, я не узнал ровным счетом ничего нового ни о себе самом, ни, тем более, о своем ближнем. Страсть к исследованию неизвестного в математике могла лишь отдалить меня от загадок человеческой души (в том числе и моей собственной), а никак не приблизить к их разрешению. Поэтому, говоря о зрелости, приходящей с годами, надо признать, что в моем случае любовь к математике нимало не способствовала ее приближению. Впрочем, я сомневаюсь, что здесь кто-либо может похвастаться противоположным опытом ([29]). Спору нет, эта, первая по счету, страсть в свое время занимала в моей жизни огромное, непомерно широкое место — которое я сам был рад ей предоставить. Причина проста: так мне было легче не замечать конфликта в своей жизни и вообще о самом себе особенно не задумываться.

Напротив, половое влечение, хотим мы того или нет, вырывает нас из уютных убежищ, бросая прямо навстречу друг другу. Где там укрыться от конфликта! Не успеешь оглянуться, и ты уже в эпицентре душевных бурь, в самой воронке. Думая о жене, о подруге, я обманывал себя поиском «ничем не омрачаемого блаженства». Но в этом поиске *не было* полового влечения как такового (хоть мне тогда и хотелось думать иначе). А был всего лишь страх, стремление подальше укрыться от конфликта — в себе самом, в душе другого. (Вот одна из двух вещей, которые мне было необходимо понять, чтобы мой призрачный поиск мог, наконец, завершиться. И тогда утихло беспокойство, лежавшее мрачной тенью на этой тупиковой дороге...) К счастью, беги — не беги, а влечение пола быстро поставит тебя лицом к лицу с твоими конфликтами!

Конфликт, возникавший то здесь, то там в моей жизни, словно бы настойчиво старался преподать мне какой-то урок; в один прекрасный день я решил, наконец, честно его выслушать. И тогда оказалось, что все то новое, что я узнавал, исходило от женщин, которых я любил (и от детей, которые у нас рождались) ([30]). Вплоть до 1976 года, то есть до моих сорока восьми, поиск женщины был единственной силой в моей жизни, приближавшей меня к зрелости. Если за все последующие семь лет мне не удалось достичь ее в полной мере, то лишь потому, что я сам ставил себе препятствия на дороге. Ведь с настоящей зрелостью всегда связано ясное представление о таких вещах, на которые принято закрывать глаза. Так поступали мои родители; это был неписанный закон повсюду вокруг меня, куда бы я ни попал. Лучшим способом не замечать очевидного для меня было — погрузиться с головой в математику.

Третья страсть появилась в моей жизни однажды ночью, в октябре 1976 года. С ее приходом у меня исчез страх перед тем, чтобы учиться и узнавать новое. Он же — страх перед реальностью вещей, самой незамысловатой, перед скромными истинами, касающимися прежде всего меня самого и дорогих мне людей. Странно, но я никогда не замечал у себя этого страха — вплоть до той самой ночи, когда меня, можно сказать, осенило впервые за все мои сорок восемь лет. Зато, как только я его обнаружил, он тут же пропал, уступив место новой страсти, третьей по счету. Стремление к познанию опять заговорило во мне, явившись под новой личиной, и от уверенных звуков его голоса все разом стало на места. Я вспомнил, что еще много лет назад начал замечать сходную боязнь новых знаний и впечатлений у других людей, в то время как в себе самом не видел ее совершенно. Страх открыть что-то непредвиденное в своей собственной душе мешал мне обнаружить в ней, прежде всего, именно этот страх! У меня, как вообще у всякого человека, еще в раннем детстве сложилось определенное представление о себе самом; причем, с годами оно, в своих существенных чертах, почти не менялось. Образ этот, конечно же, мне льстил; мне совсем не хотелось его разрушить. Но той октябрьской ночью он, уже изрядно постаревший, усох, как говорится, прямо на глазах, и формы его тут же утратили привычное благородство. На обломках старого возник новый, подобный ему образ, за ним — еще и еще; каждый новый фантом держался несколько дней или месяцев (а бывало, год или два), не рассыпаясь лишь благодаря крепким, цепким силам душевной инерции. Но стоило на тот или иной из них взглянуть повнимательнее, как дутая фигурка вдруг распадалась, и обман выступал наружу. Иногда очередное пробуждение задерживалось из-за самой обыкновенной лени: как следует взглянуть себе в душу — немалая работа. Но *страха*, боязни открыть глаза уже не было. Потому что, как только появляется любопытство, страх проходит. А у меня с той ночи появился интерес к тому, что же творится в моей собственной душе, так что новых, самых неприятных, находок я уже не боялся. Наоборот; это как в математике, когда стремишься разобраться до конца в той или иной ситуации. Тогда живешь в каком-то радостном ожидании, нетерпеливом подчас, а все-таки упрямом: пока не дойдешь до последнего слова, не хочется отступаться. И тогда ты готов принять все, что идет навстречу твоему ожиданию, предвиденное или непредвиденное. Ты вглядываешься в суть предмета со страстью, с нежным вниманием — и оно, это внимание, не пропустит нужного знака. Сигнал получен, картина яснее, и вот уже в исходной смеси ложного, отчасти верного и «кажется, вероятного» ты безошибочно различаешь истину.

В любопытстве к себе самому есть любовь, и ее нимало не тревожит то, что вещи, которые нам предстоит увидеть, могут обмануть наши чаяния. Эта любовь незаметно поселилась во мне еще за два месяца до пресловутой октябрьской ночи — но тогда, в минуту пробуждения, она приняла действенную, даже предприимчивую форму. Она лишь шевельнулась — и прочь полетели все костюмы и маски, осыпался грим! Как я уже говорил, новый маскарад не замедлил явиться на смену прежнему — но как он сам, так и те, что, в свою очередь, приходили его заменить, недолго ждали своего полного разоблачения. При этом я не испытывал ни разочарования, ни досады; обошлось без «зубовного скрежета»...

Проявления новой страсти за последние семь лет вошли для меня в некий ритм. Они приходили приливами и отливами, прилетали свежим дуновением с океана. И оно, насыщенное солью, охватывало пространства, проникало в душные квартиры застоявшейся мысли, несло в себе умиротворение. Здесь не место попыткам составить график таких «посещений», проследить волнистую, переменчивую линию, которая приносит их и уносит. По тем же законам живет во мне страсть к математике, но и ее поведение мы здесь не станем описывать, ибо как составишь карту дождей и ветров человеческой души? Отказавшись служить у самого себя метеорологом, я больше не предсказываю погоды и не пытаюсь управлять движением обеих стихий. Скорее, наоборот: они вдвоем, объединившись, выбирают русло для дальнейшего течения моей жизни. А еще точней, они и *есть* это русло, этот маршрут.

Еще за несколько месяцев до того рубежа в моей жизни, о котором я говорил, начала преобразовываться, меняя облик, одна из двух моих прежних страстей, — та, что раньше вела меня на поиск женщины. То был период душевного насыщения: накопленные впечатления спокойно усваивались где-то внутри, выравниваясь по краям, собираясь в одну общую картину. Беспокойство, прежде всегда сопровождавшее мысли о женщине, постепенно исчезло — и тогда опять пришло облегчение. Тяжесть с плеч, и дыхание вновь обретает ритм и глубину. Так слабенький огонек, задыхаясь от недостатка свежего воздуха, от внезапного порыва ветра разгорается, да так живо, так ярко, что стоишь и не веришь своим глазам. Горит костер, слегка потрескивают в нем сучья, высоко взлетает веселое пламя!

Пламя, однако же, догорело своим чередом. Голод, казавшийся неутолимым, утих и больше не возвращается. Вот уже два года, как та, вторая по счету, стихия не давала о себе знать; она, как видно, ушла со сцены. В освободившемся пространстве теперь гуляют две бури. Одна их них, страсть моей юности, тридцать лет кряду заслоняла от меня воспоминания моего детства, от которых, впрочем, я и рад был отвернуться. Другая же — страсть моих зрелых лет; она, сбросив пыльную завесу, разбудила и ребенка во мне, и детство, в котором он жил.

36. В ту же ночь, когда я, наконец, излечился от своего застарелого страха (и новая страсть в моей душе заняла его место), со мной случилась еще одна неожиданная вещь. Я открыл для себя медитацию. Я медитировал впервые в жизни; к этому «открытию» меня подтолкнула срочная, безотлагательная необходимость. К тому моменту меня уже несколько дней мучило странное беспокойство. Тревога подступала волнами, в буквальном смысле слова захлестывая с головой. Что-то «не клеилось», не сходилось; впрочем, беспокойство, наверное, всегда рождается от острого ощущения какого-то внутреннего несоответствия. В данном случае, мое устоявшееся представление о себе самом (сорокалетней давности), которое я за все эти годы ни разу не пробовал обновить, уже слишком явно не отвечало скромной действительности. А с другой стороны, меня подхлестывала жажда все узнать, во всем разобраться. Был, конечно, соблазн снова отвернуться и закрыть глаза, но тревога все нарастала, и от нее хотелось избавиться. Труд был напряженным, он продолжался несколько часов до полной развязки, причем я сам все это время не понимал до конца смысла происходящего и не знал, к чему моя работа меня приведет. Спрашивая себя, что же в конце концов творится в твоей собственной душе, всегда (подсознательно) стремишься уйти от прямого ответа. В ходе работы я раз за разом ловил себя на подобных попытках. При этом каждая новая увертка выдавала себя за долгожданный ответ, за внутреннее убеждение, которое мне наконец-то удалось, черным по белому, сформулировать. Я с удовлетворением все это записывал, нимало не сомневаясь в истинности очередного «откровения». В подобном обороте дела, несомненно, был определенный соблазн, если я с такой готовностью ему поддавался. Мне казалось, что если какая-то мысль, идущая изнутри, нашла дорогу к бумаге и чернилам, то это одно уже — достаточное обоснование, и других доказательств ее подлинности не требуется. И не владей мною тогда нескромное, чтобы не сказать неприличное, желание во всем разобраться — иными словами, стремление к познанию, — я бы так и поставил точку на этой радужной ноте. «Happy end», как говорится; между прочим, как раз в таком настроении я и завершал каждый этап. Но уже в самом конце — вот еще беда на мою голову! — мне, Бог знает отчего, приходило в голову лишний раз, повнимательнее, присмотреться к тому, что я только что понял и записал (к своему полному удовлетворению). В самом деле, ведь все уже готово, изложено черным по белому на листе бумаги; остается только перечесть — забота невелика. И вот, ничего не подозревая, я беру в руки свой текст; позвольте, позвольте! Здесь какая-то неясность, и логика в этом месте прихрамывает... Всматриваюсь пристальнее — и становится все более ясно, что мои последние откровения, от начала и до конца, сплошное вранье. Я, что называется, спутал Божий дар с яичницей: сам себя обвел вокруг пальца. Это маленькое открытие всякий раз являлось неожиданно, и несло с собой столько нового света и сил, что знаменитое: «Есть еще порох в пороховницах!» — чуть только не срывалось с языка. В радостном изумлении (усталости как не бывало!) я снова пускался по той же дороге. Вперед; мы непременно доберемся до последнего, все разъясняющего слова. Только не сбавлять шагу, ведь это вот-вот случится. Небольшой итог, уточнить свои позиции... и перед нами — новое внутреннее убеждение, на вид со всеми необходимыми атрибутами «завершающего слова в нашей истории». На сей раз мы просто не могли промахнуться: конечно, это именно то, что мы искали. Надо, однако же, изложить его на бумаге — не потому, что я, Боже упаси, усомнился в истинности собственного убеждения, а так, для очистки совести. И потом, записывать такие разумные, глубоко прочувствованные мысли — одно удовольствие; уж не знаю, кем надо быть, чтобы с этим не согласиться. Неподдельная искренность, истинное прямодушие налицо; работа, положа руку на сердце, просто безупречна!

И это был новый «happy end», завершение очередного этапа. И снова я был бы рад остаться, задержаться на этом пороге, кабы не бессовестный сорванец, которому (где-то в темноте, в глубине моей души!), хоть ты его убей, никак не спалось. Голос рассудка ему не указ, и вот он опять решает сделать по-своему (неисправимый ослушник, что говорить!). Увы, стоило ему сунуть свой нос в мои «документы», заверяющие последнее слово — и такие безупречные в своей аутентичности! — как уловка раскрылась, и все это снова оказалось грубой подделкой. Как и в прошлый раз, об отдыхе пришлось позабыть; в дорогу, до следующего поворота!

Так продолжалось добрых четыре часа: этапы следовали один за другим, как луковые «одежки без застежек», которые я, стремясь добраться до сути, счищал ножом в нетерпении. (Образ луковицы, как подходящее сравнение, пришел мне в голову в конце той октябрьской ночи.) Загадка не осталась без ответа; *ядро*, скрытое от глаз сотней слоев обманчивой шелухи, в конце-концов увидело свет. Истина, которая мне тогда открылась, оказалась совсем простой и очевидной (и при этом, откровенно говоря, до слез резала глаза). Каким-то образом мне, однако же, удавалось прятать ее от себя целыми днями, неделями (да что там, всю свою жизнь) за бесконечными слоями наросших одна на другой «луковых шкурок».

Когда скромная истина, наконец, явилась ко мне, я испытал неимоверное облегчение. Освобождение пришло вдруг, не задерживаясь на пороге — полное и бесповоротное. В ту же секунду я понял, что держу в руке исходный узел, откуда ко мне тянулись все смутные нити странной тревоги. И она, эта неотвязная тревога последних пяти дней, в самом деле вдруг разрешилась. Растворившись, она начала превращаться в новое знание, которое постепенно, небольшими кристаллами, уже осаждалось на дне души. Беспокойство не то чтобы просто отпустило меня на время, как это несколько раз случалось раньше — в предыдущие пять дней и во время самой медитации, — в ответ на уступку совести, по договору, который я заключал сам с собой. Превращение тревоги в моей душе на сей раз не остановилось на призрачном уровне идеи — то есть чего-то внешнего, как бы искусственно привитого и, по сути, чуждого мне. Нет, она стала *знанием* в полном смысле этого слова — знанием о скромном и очевидном, отныне неотделимым от меня, как плоть или кровь. Более того, для нее, наконец, нашлись слова; и формулировка получилась ясной, без обиняков и недомолвок. Взамен долгих разглагольствований — совсем простенькая фраза длиной всего-то в три-четыре слова. И переход от мысли к словам был завершающим этапом всего труда; пока не сделан этот последний шаг, пресловутое превращение, все еще обратимое, не доведено до конца. На всем протяжении этой работы тщательный, даже скрупулезный, выбор слов для выражения чередой приходящих мыслей, представлял собою существенную часть самого труда. Каждый новый этап работы начинался, по сути, как осмысление всего, что происходило в моей душе в ходе предыдущего этапа. При этом у меня перед глазами лежало неоспоримое свидетельство: дорожный дневник, отчет о том, как одевались в слова идеи, появляясь на горизонте. Теперь я уже не мог сослаться на то, что неверная память, разводя ясность моих впечатлений туманом размытого времени, якобы отказывается мне служить!

Вслед за моментом откровения и внезапной свободы пришло новое чувство: я вдруг ощутил всю значимость того, что произошло со мной минуту назад. И мне довелось открыть для себя еще одну вещь, которую я ценю еще дороже, чем скромную истину, вызревавшую в моей душе несколько дней. Я понял, что узнать все до конца, осмыслить то, что происходит ко мне — в моей власти, стоит лишь захотеть. В моих силах дойти до конца трещины, расколовшей мой внутренний мир, хоть бы и по самому ее краю — и увидеть источник глубокой амбивалетности в моем отношении к людям и к себе самому. Я могу, собственноручно протянув нити Ариадны, добраться до самого узла спутанных противоречий, конфликтов в своей душе, и уже тем самым разрешить их все до одного. Этого разрешения я ждал, как *милости* откуда-то с неба, во все предыдущие годы. Но я ошибался, ибо оно достигается лишь напряженным *трудом*, упорным и педантичным — обыкновенной, настоящей работой. Таких подарков, как внезапное и полное разрешение нашего внутреннего конфликта, или хотя бы (пришедшее вдруг) умение увидеть его в себе, жизнь нам не подбрасывает на дороге. А если здесь и есть «милость», то она — в том, что стремление к познанию, приняв облик странника в мире наших душ, соблаговолит, по собственному почину, нас посетить ([31]). Оно-то и вело меня несколько часов подряд к самой сердцевине конфликта в моей душе, не давая ни минуты роздыха. Так страстное желание в любви ведет нас к сердцу любимой женщины по самой верной дороге.

Если же ты за работой не слышишь в себе такого желания, то твой так называемый «труд» — не более чем притворство. И здесь неважно, изучаешь ли ты математику или собственную душу; он все равно ни к чему тебя не приведет. В лучшем случае, ты приблизишься к разгадке и, не чувствуя тепла от огня, станешь бродить кругами вокруг котла. Похлебка в нем — для того, кто всерьез одержим голодом! У меня, как и у любого другого, порой наступали времена насыщения, когда жгучий голод пропадал, и желание открывать новые неожиданности не подавало голоса. Когда у меня исчезал интерес к себе самому, я попросту терял представление о том, что со мной происходит. Попадая в те или иные ситуации, я действовал совершенно бессознательно, по прихоти каких-то, несложно устроенных, внутренних механизмов. Причем, разумеется, со всеми вытекающими последствиями — как если бы автомобилем на трассе управлял не человек, а компьютер. Если же говорить о математике или о медитации, то мне и в голову не приходило делать вид, будто я «работаю», когда у меня не было этого голода, этого желания. Вот почему мне не случалось предаваться медитации, или математике, хотя бы лишь несколько часов ([32]) кряду, не достигнув в конце какого-либо нового результата. И то, что я при этом узнавал, чаще всего (чтобы не сказать всегда) приходило, как некая *неожиданность*: начиная работу, я не мог предвидеть, какая именно находка ждет меня впереди. Это не имеет отношения к каким-либо природным способностям (есть они у меня или нет); дело просто в том, что, если у меня нет настоящего желания, я никогда не берусь за работу. (Сила этой страсти, и только она, будит в человеке ту самую *требовательность*, о которой я уже когда-то говорил; она, в свою очередь, не дает работнику остановиться на полдороге, или даже у самой цели. Она ведет нас, не отпуская, до тех пор, пока мы не достигнем полного понимания исследуемой ситуации, — даже если все дело, на первый взгляд, не стоит выеденного яйца.) Повсюду, где речь идет об открытии, труд поневоле — сущая бессмыслица; так можно создать лишь видимость работы. По правде сказать, идея попусту растрачивать свои силы на подобные представления меня никогда особенно не соблазняла. Ведь на свете столько интересных вещей, которыми всегда можно заняться! Например, можно просто заснуть (если время подходящее) — и видеть сны...

Думаю, что той же самой ночью, о которой здесь уже столько сказано, я и понял, что *желание* и *возможность* познать, открыть новое — по сути, одно и то же. Это желание, стоит лишь довериться ему, приведет нас к самым сокровенным глубинам того, что мы стремимся познать. Благодаря ему, мы безошибочно находим (по наитию, не пускаясь нарочно в утомительные поиски) самый действенный метод для нашего исследования — инструмент точь-в-точь нам по руке. Очень похоже на то, что в математике без пера и бумаги, в общем, не обойтись. Занимаясь математикой, человек прежде всего *пишет*. Это, конечно, верно для всякой исследовательской работы умственного толка. Но для «медитации», которую я понимаю, как труд исследования себя самого, записывать что бы то ни было в общем случае далеко не обязательно. Но для меня во время занятий медитацией перо и чернила просто необходимы. Как и в математике, они для меня здесь — существенная, реальная поддержка, задающая ритм размышления. Уже записанные мысли служат мне ориентиром, и мое внимание (которое, дай только ему волю, сорвется с места и полетит на все четыре стороны) легче держится в узде силой высказанного слова. К тому же, то обстоятельство, что от самого труда (как процесса) остается осязаемый след, часто оказывается полезным для дальнейшей работы. Когда медитация продолжается подолгу, в ходе ее нередко возникает нужда восстановить течение мысли в тот или иной момент времени, перелистнув на несколько дней — а бывает, и лет — назад по календарю.

Мысли и тщательному подбору слов для того, чтобы ее передать, принадлежит, как я уже говорил, важная роль в процессе медитации (по крайней мере, так это было со мной до сих пор). Однако, «важная» здесь не означает «исчерпывающая». К мысли прибегаешь в первую очередь для того, чтобы уловить противоречие в своем представлении о себе самом (или о своих взаимоотношениях с тем или иным человеком) — иногда самое невероятное в своей несообразности, вплоть до гротеска. Но для того, чтобы понять смысл подобного противоречия, ее возможностей зачастую недостаточно. Если ты всерьез одержим стремлением к познанию, то мысль для тебя — полезный, действенный инструмент, без которого иногда просто не обойдешься. Но все это верно лишь постольку, поскольку ты имеешь представление о пределах ее применимости, очевидных в медитации (и не столь резко очерченных в математике). Мысль должна знать свое место и уметь отступать на второй план — незаметно, на цыпочках — когда на сцену выходит нечто другое, то, что не подчиняется рассудку. Это — всего лишь чувство: являясь, как гром среди ясного неба, оно проникает глубоко, в самое сердце. Что же перо? А оно все бежит по бумаге, спотыкаясь, сбиваясь на лепет…

37. Начинать здесь разговор о том, как я открыл для себя медитацию, вовсе не входило в мои намерения. Я стал писать об этом неожиданно для себя (почти что вопреки собственной воле). То, о чем я собирался говорить, следовало бы назвать *восхищением.* Пресловутой осенней ночью, столь щедрой для меня на находки, меня всякий раз охватывало восхищение при встрече с очередной неожиданностью. Даже во время работы я испытывал что-то вроде недоверчивого восторга при виде того, как распознается очередная уловка моего сознания, попытка увести мысль в сторону. Но ведь и впрямь происходило нечто невероятное: как если бы я вдруг заметил, что костюм, когда-то мне очень полюбившийся, на деле был скроен из мешковины и сшит кое-как, суровою ниткой! А я все это время всерьез считал его настоящей вещью, тонкой работы! В последующие годы это чувство не раз ко мне возвращалось, точь-в-точь таким же, как в ту первую ночь медитации. Таким веселым маскарадом началось для меня открытие неожиданного мира, который я носил в себе с самого рождения, мира, с тех пор день за днем открывавшего мне свое странное, удивительное богатство. И однако, с первых же шагов по его просторам (все той же октябрьской ночью), мне было чему восхититься помимо невероятных сцен того завораживающего карнавала. Ведь тогда я сразу же сумел заново обрести связь с одной давно забытой, долгие годы дремавшей во мне силой. Пока мне не удалось понять, какова ее природа; знаю только, что это мощная сила, которую я всегда могу призвать на помощь, стоит лишь захотеть.

Я ощутил ее присутствие в себе еще за несколько месяцев до того момента, когда моя связь с ней восстановилась вполне. И все эти дни я испытывал тихое, немое восхищение — перед тем, чей голос слышался мне еще не слишком ясно. Тогда она казалась мне не столько силой, сколько некоей внутренней мягкостью; в ней была красота, волновавшая меня и в то же время умиротворяющая. Позднее, ликование по поводу открытия в себе как будто новой (и такой давней) силы вытеснило в моей памяти месяцы молчаливого вынашивания вновь пробудившегося плода. О том, как я думал тогда, у меня не осталось сколько-нибудь надежных свидетельств; разве что несколько разрозненных стихотворений. Это стихи о любви; думаю, они показались бы не слишком уместными в записках, посвященных медитации...

Прошли годы, прежде чем я вспомнил о тех временах, когда меня переполняло восхищение перед красотой мира и гармонией, во мне обретавшейся. И тогда я понял, что эта мягкость, эта красота, которые я ощущал в своей душе, и внутренняя сила, позднее мне открывшаяся (и тем самым глубоко изменившая мою жизнь), суть две неотделимые друг от друга грани некоего единого целого.

А еще мне стало ясно, что мягкий, сосредоточенный, молчаливый аспект этого многоликого целого и есть то, что мы называем творчеством. Он дает нам умение восхищаться. И в том же восхищении перед невыразимой красотой, заключенной в любимом существе — той самой, что, открываясь твоему взгляду, резко и как-то вдруг сжимает сердце — познают друг друга мужчина и женщина. Если же мы не слышим в себе этого восторга (будь то по отношению к любимому существу или к какой-либо вещи в мире, о которой мы хотим что-то узнать), тогда наша чувственная связь с миром убога и ненадежна, ибо ей недостает лучшего из того, чем благословляет природа. Объятие, не освященное восторгом, немощно и бессильно: жест обладания, бездушно, впустую воспроизведенный. Что может родиться от него, кроме таких же пустых, бессмысленнных копий? Их может быть сколь угодно много, каждая из них может, с точки зрения масштаба, разниться с оригиналом — но признаков творчества, обновления, в них незачем и искать ([34]). Чтобы уметь восхищаться красотой всего, что заключено в мире и в нас самих, нужно быть, как дети — и тогда самообновление придет к нам легко и естественно, как воздух. В пальцах Работника мы станем послушными и тонкими инструментами; вещи и существа будут вернее и глубже перерождаться под его руками через посредство наших душ.

Говоря о нашей математической среде, я живо помню те времена, когда это восхищение сопровождало нас повсюду, готовое вспыхнуть в каждой душе и в любой момент. В пятидесятые годы и раньше, в конце сороковых, когда мы все жили дружно и между собой обходились без церемоний, — чересчур шумные, быть может, и слишком уверенные в себе, — когда безапелляционный тон отнюдь не был редкостью в разговоре, а категоричные суждения можно было услышать на каждом углу (без малейшего, впрочем, оттенка самодовольства), тогда самые разнообразные вещи в математике восхищали и радовали нас. У каждого это выражалось по-своему; живым воплощением творческого восторга в нашем кругу, несомненно, был Дьедонне. Докладывал ли он или просто был в числе слушателей, но всякий раз в момент кульминации (или когда за словами докладчика вдруг открывалась неожиданная перспектива), Дьедонне сиял от радости, явно находясь на верху блаженства. Заразительности его восторга было невозможно противостоять: восхищение от него словно бы передавалось волнами, отрешенное, безличностное; гордости, зависти в нем не было и следа. Сейчас, вспоминая об этом, я вдруг осознал, что оно само по себе было силой: на всех сидящих вокруг оно оказывало непосредственное, немедленное воздействие: как если бы он и в самом деле был источником некоего мощного излучения. Если вам нужен пример математика, который у всех на глазах распоряжался своей, такой немудреной (и такой действенной), властью, чтобы ободрить, воодушевить своего ближнего, то вот вам Дьедонне — не ошибетесь! До сих пор я никогда об этом не задумывался, но теперь вспоминаю, что именно так, светло-восторженно, он принял меня, когда я принес к нему в Нанси свои самые первые научные результаты. Мне тогда удалось разрешить вопросы, поставленные как раз Дьедонне и Шварцем (о пространствах (F) и (LF)). Результаты весьма скромные, ничего сверхъестественного; восхищаться, можно сказать, было особенно нечему. Мне с тех пор доводилось видеть, как достижения совсем иного масштаба пренебрежительно, без объяснений, отвергались нашими «великими математиками». Дьедонне же никогда не строил из себя важной персоны (не задумываясь над тем, есть у него к тому основания или нет). Вероятно, поэтому он мог себе позволить радоваться без помех, даже по самому пустячному поводу.

В умении восхищаться есть особая *щедрость*. Она идет на благо и самому человеку, и тем, кто его окружает. Это происходит непреднамеренно, здесь нет речи о желании польстить товарищу или хотя бы оказать ему любезность. Это — как аромат цветка, как солнечное тепло на живой земле.

Из всех математиков, которых я знал, у Дьедонне этот «дар» проявлялся особенно ярко. Его восторг был необычайно заразителен — и, наверное, сила его восхищения была действеннее, чем у других ([35]). Но среди моих ближайших друзей тех лет нет ни одного, кто был бы в те дни обделен этим «даром». Они проявляли его реже и более сдержанно, быть может. Но всякий раз, когда я приходил к кому-нибудь из них с тем, чтобы поделиться поразившей меня находкой, я слышал его и чувствовал.

И если, в моей жизни как математика, мне довелось узнать горечь и разочарование, то прежде всего это случалось тогда, когда в людях, которых я знал и любил, я искал и не находил этой щедрости. Я видел, как она исчезала, эта чувствительность к красоте вещей, великих и малых. Больно было провожать ее взглядом — как если бы нечто живое, населявшее наши души, уходило из них без следа. И там уже вступало в свои права, требуя места, разраставшееся самодовольство — толкуя о том, что мир-де староват и невзрачен, а потому и нашего просвещенного восторга он, дескать, никак не заслуживает.

Конечно же, мне бывало больно и тогда, когда я узнавал, что тот или иной из моих старинных приятелей снисходительно (или даже с презрением) обошелся с кем-либо из моих друзей этих последних лет. Но ведь причина здесь, по сути, одна. Тот, чья душа открыта красоте вещей (даже если речь идет о самой малой вещи на свете), не может, прислушивась к гармонии, не испытывать одновременно уважения к тому, кто наградил ее голосом. Руки, сотворившие красоту, несут на себе отпечаток ее души — той любви, которую вложил в дело работник. И когда мы ощущаем эту красоту, эту любовь, тогда в нашем сердце нет места снисходительному пренебрежению. Ибо закон один для всех: вдруг прочтя в глазах женщины пронзительную красоту ее существа, потрясенный скрытой за нею животворящей силой, дерзнул ли кто помыслить о снисхождении?

38. Должно быть, та радость, какою лучился Дьедонне в иные минуты, в свое время затронула во мне какую-то из тонких, глубоких душевных струн. Думая об этом, я как будто снова вижу перед собой его восторженное лицо. Воспоминание приходит свежим и ярким, как никогда (а ведь я не виделся с ним почти пятнадцать лет — разве что мельком, два раза). А между тем, на сознательном уровне я, безусловно, никогда не обращал на это особенного внимания: что там, просто милая, забавная странность характера старшего коллеги и друга. Намного важнее мне казалось то обстоятельство, что он был для меня идеальным товарищем по работе; другого такого, пожалуй, и не сыскать. С какой тщательной, любовной заботой предавал он бумаге то, что должно было послужить основой для многоэтажных зданий неведомой архитектуры, чей план, в красочной перспективе, уже открывался передо мной! И только теперь, когда все это вместе вдруг мне припомнилось, я уловил между обеими, так заметно отличавшими Дьедонне от других, чертами очевидную связь. Идеальным служителем большой, серьезной задачи (шла ли речь о работе в группе Бурбаки или о нашем с ним счастливом сотрудничестве) Дьедонне делала как раз та самая *щедрость*. Тщеславия в нем не было ни на грош: ни в том, как он работал, ни в том, по какому принципу он выбирал ту или иную тему в математике — чтобы затем, забыв обо всем, нырнуть в нее с головой. Его собственное «я» при этом исчезало, отодвигалось на второй план; энергия, которую он без счета вкладывал в работу над своими задачами, казалась неисчерпаемой. Он бескорыстно, с полной душевной отдачей служил своему делу, ничего не ожидая взамен. И, несомненно, награду он получал сполна, находя ее в своей работе — и в той самой щедрости, чьи семена прорастали и цвели у всех на глазах, воздавая сторицей. Я уверен, что так чувствовали все, кто его знал.

Радость открытия, которой он, бывало, так и лучился весь, с ног до головы, явно сродни детскому восторгу. Мне приходят на ум два ярких воспоминания; оба — о моей дочери, тогда еще совсем крошке. Первый образ — вероятно, из тех времен, когда ей было всего лишь несколько месяцев: она только-только научилась ползать на четвереньках. В тот раз она играла во дворе нашего дома, на небольшом клочке травы, сбоку от аллеи, выложенной гравием. Добравшись на своих четверых до края лужайки, она обнаружила эти камешки. В немом (но деловитом) восторге, набрав полную пригоршню великолепных находок, она, не раздумывая, засунула их к себе в рот! Второй образ, скорее, относится к той поре, когда ей уже стукнуло год или два. Кто-то при ней бросил корм золотым рыбкам в аквариум. Крошки поплыли в воде, медленно опускаясь на дно, а рыбы бросились к ним наперегонки, широко разевая рты. Малютке до тех пор никогда не приходило в голову, что рыбы могут есть, совершенно как люди. Это было, как внезапное прозрение — яркое, пронзительное чувство, которое тут же, при нас, вылилось наружу восторженным воплем: «Смотри, мама: они *едят*!» Да и в самом деле, было чему восхищаться: великая тайна нашего родства со всем, что живет на земле, открылась ей вдруг, в ослепительной вспышке.

В детской радости есть нечто необыкновенно заразительное, и оно не укладывается в слова. От ребенка словно передается к нам какая-то сила — в то время как мы (чаще всего) всеми возможными средствами стремимся от нее отгородиться. Но если в доме, где есть ребенок, умолкнуть про себя и прислушаться, то голос этой силы услышишь всегда, в любую минуту. Такое «силовое поле» мощнее всего вокруг новорожденного, в первые дни и месяцы его жизни. Как правило, оно дает о себе знать и в последующие годы, как бы ветшая по мере взросления малыша, зачастую уже совсем незаметное у подростка. Бывают люди, которых не так скоро покидает это удивительное свойство; уже в летах, в иные моменты они так и лучатся дестким восторгом — и, как море, волнуется пространство вокруг. И совсем редко попадаются в мире такие взрослые, которые живут, как дети — всякую минуту переживая, как новую неожиданность. Таких наше «силовое поле» облаком веселого света сопровождает повсюду, до самой смерти. Мне выпала великая удача: в свое время, еще ребенком, мне довелось повстречать одного точно такого человека. Теперь его уже нет в живых…

Этот разговор навел меня на мысли о другой, сходной силе — той, что исходит от женщины. В расцвете своей женской природы, когда душа ее находится в согласии с телом, она излучает вокруг себя некую мощь, действие которой всякий вольно или невольно ощущал на себе. Пытаясь передать это чувство словами (и совсем не претендуя на сколько-нибудь полное его описание), я думаю о «красоте». Но это не значит, что речь здесь пойдет о каких-либо канонах телесной красоты, о пресловутом «совершенстве форм» — наоборот. И годы здесь ни при чем: на ту красоту, о которой я говорю, ни юность, ни зрелость не держат исключительных прав. Скорее, она — отзвук некоей внутренней, глубокой гармонии. Это сила, влекущая нас к самому центру мощного излучения. Она будит в нас тайное, глубинное стремление *возвратиться*, снова слиться в одно с телом Женщины-Матери, которое мы однажды покинули, вступая в жизнь. Исходя от любимой женщины, эта сила волнует, пронзает насквозь; подчас ей невозможно противостоять. Но тот, кто нарочно не закрывает глаз, видит ореол ее лучей вокруг всякой женщины, в чьей душе эта гармония, эта красота, расцвела свободно, не встретив препятствий.

39. Два воспоминания, о которых я только что рассказал, относятся по времени к самому концу пятидесятых — началу шестидесятых. Конечно, чистым восторгом открытия, в первые годы своей жизни, дышит каждый ребенок. Но о младших детях, о том, как они переживали свои поразительные находки, у меня в памяти не отложилось таких же ярких подробностей. Дело, наверное, в том, что я сам с годами понемногу утрачивал умение восхищаться; пронзительная острота внезапного чувства, кажется, несколько притупилась в моей душе. Я отдалялся от этого, все безогляднее уходя в свои «солидные» занятия. Так запросто заразиться детской радостью, даже приметить и распознать ее ни с чем не сравнимые проявления, я уже не мог.

За всю жизнь мне еще ни разу не приходило в голову поразмыслить о том, что это, собственно, значит — уметь восхищаться (а заодно спросить себя, не утратил ли я сам эту способность). Блуждая в поисках разгадки, я и не подозревал, что путеводная нить проходит именно здесь: ведь умение восхищаться, по сути, самый что ни на есть чувствительный индикатор в иных вопросах. Нить все это время находилась у меня под ногами — но до того скромная, легкая, неказистая с виду, что я просто не обращал на нее внимания. Меня слишком увлекало открытие «главных движущих сил» в моей жизни (они для меня и по сей день не утратили своего значения, это верно). А между тем, способность «радоваться как малое дитя» говорит в нас голосом иной «силы», куда более редкой между людьми — и более драгоценной…

Совершенно отрезан от этой силы я никогда не был. Даже в те времена, когда в твоей духовной жизни наступает засуха, и чувства из нее будто бы пропадают — детский восторг, радость открытия, ты так или иначе обретешь в любви. Далеко забредая в пустыни сухой, бездушной мысли, в любовной страсти ты сохраняешь живую, крепкую связь с плодородными землями, которые ты когда-то оставил. Нить надежна, пуповина не перерезана; ее задача — питать тебя теплой, щедрой, живительной кровью. Ты восхищаешься любимой женщиной, и это чувство неотделимо от восхищения перед новыми существами, от нее приходящими в свет. Они — сама свежесть; бесконечно хрупкие, невероятно живые, они одним только своим существованием раз и навсегда подтверждают ее могущество — и наследуют ее творящую силу.

Но моя настоящая цель — прежде всего, как-нибудь проследить проявления этой же самой силы, «силы невинности», в моей жизни как математика. (Речь идет о периоде с 1948 года по 1970-ый, когда я входил в «мир математиков» на правах постоянного обитателя.) Любовь всегда насквозь пронизана восхищением; страсть же к математике, в целом, совсем иное дело — по крайней мере, в моем случае. Странная вещь: я не могу припомнить, как ни стараюсь, ни одной конкретной ситуации, когда в математике, во время работы, меня вдруг посетило бы подобное восхищение. С семнадцати лет, когда я только начинал, с самым пылким увлечением, заниматься этой наукой, я всегда работал, что называется, «по плану». Я ставил себе грандиозную *задачу*, а затем трудился над ее разрешением; в этом состоял мой подход к математике. И всегда, с самого начала, это были задачи по «приведению в порядок»; я занимался, по сути, генеральной уборкой огромного помещения. Я видел перед собой невероятный хаос, смесь разнородных объектов; пыль стояла в воздухе подчас непроницаемой завесой. И все же, внутри этого невообразимого нагромождения явно таился порядок; разнообразные вещи, здесь и там нелепо торчавшие из-под пестрой груды, очевидно, содержали в себе какую-то, общую для всех, но все еще непостижимую сущность. Во всем этом неясно ощущалась скрытая, неведомая гармония; чтобы ее восстановить, нужно было терпеливо, тщательно, иногда очень долго трудиться. Зачастую это была работа со шваброй и тряпкой, с жесткими щетками, какими скоблят полы; чистка требовалась весьма основательная, и сил на нее уходило немало. Под конец же, для красоты, нужно было пройтись кое-где легкой метелкой; такая работа увлекала меня меньше, но в ней была своя прелесть — и, уж во всяком случае, очевидная польза. И еще было во всем этом какое-то особенное удовлетворение: видеть, как понемногу восстанавливается, открывается глазу внутренний порядок чудесного дома, претворяя в жизнь твое, смутное когда-то, прозрение. Но догадки, с которыми ты приступал к работе, на поверку всегда оказываются слишком робкими: гармония слышна все яснее, — изысканная, тонкая, — и такого богатства красок и звуков невозможно было предвидеть заранее. Сколько неожиданностей, случайных находок встречалось по дороге: а ведь, кажется, ты всего лишь наклонился, чтобы рассмотреть поближе мельчайшую, едва заметную безделушку, которой ты раньше просто пренебрегал. Нередко тщательная обработка такой вот мелкой детали проливала совершенно неожиданный свет на какой-либо труд из прошлых лет, казалось, давно завершенный. А бывало и так, что она одна приносила мне новые догадки, задавая на будущее направление мысли. Впоследствии, следуя этому курсу, я неизменно приходил к новой «грандиозной задаче».

Таким образом, в моей работе над математикой (если не считать того «мучительного» 1954 года, о котором я как-то уже говорил) всегда присутствовало некое напряженное ожидание — внимание, постоянно державшее меня «начеку». Впрочем, верность своим задачам не позволяла мне вырываться слишком далеко вперед, сбиваясь с жестко заданного курса. Задержки в работе выводили меня из себя; стремясь поскорее покончить с оставшимися формальностями ради нового броска в неизвестное, я в нетерпении грыз удила. А между тем, для того, чтобы довести все эти задачи до конца, одной жизни мне заведомо не хватило бы (при том, что в добровольных помощниках у меня все это время не было недостатка).

Как путешественник в море ищет глазами огней маяка на горизонте, так я, выбирая свой путь, искал впереди знаков внутреннего согласия, соответствия между отдельными, уже открывшимися мне, деталями моей картины-загадки. На поверхности бушевала буря, война волн со случайными щепками — но дальше, в глубине, я угадывал чудесный покой, гармонию полную и совершенную. Шаг за шагом, осторожно, я старался извлечь ее на свет — не останавливаясь, не чувствуя усталости. Вело меня при этом какое-то пронзительное предчувствие красоты — на всех дорогах мой единственный компас. Созерцать красоту в полном блеске — истинное наслаждение; но в том, чтобы видеть как она, не торопясь, выступает из тумана (а сама эта плотная завеса, за которой она так упорно скрывалась, рвется в клочки, опускаясь к твоим ногам), я находил особенную, иную радость. Конечно, я не оставлял работы до тех пор, пока мне не удавалось раз и навсегда вывести свою находку на свет из ее уютного полумрака. И тогда уже я мог задержаться, чтобы в полной мере насладиться созерцанием — глядя, как стройно ложатся на картину пестрые краски, и как случайные, разрозненные голоса, торжествуя, сливаются в одну всеохватывающую гармонию. Но чаще всего то, что я только что вывел на свет, само подсказывало мне новые догадки, побуждая вернуться ради них в царство непроницаемого тумана. Свежая находка при этом оказывалась для нового похода незаменимым инструментом. Да и могло ли быть иначе? Ведь Та, что вечно таится в глубине, неуловимая, неверная, без конца меняющая облик, маня очередным, незнакомым еще воплощением, снова обращала ко мне свой зов.

Дьедонне, мне кажется, находил свой восторг и удовлетворение прежде всего в созерцании красоты вещей — в полном свете, в законченном великолепии. Мне же была дороже радость неуверенного поиска, вслепую, наощупь, в мороке ночных туманов. Именно в этом, быть может, заключается глубокое различие наших с ним подходов к математике. В свое время я умел чувствовать красоту так же остро, как Дьедонне; вероятно, эта способность притупилась у меня в шестидесятые годы (когда я, сам того не замечая, стал потакать своему самодовольству). Однако, похоже на то, что само восприятие красоты, немедленно выливавшееся у Дьедонне в счастливое восхищение, всегда осуществлялось у нас по-разному. Моя страсть к гармонии вещей, по-видимому, была более действенной, в то время как его любовь — скорее, созерцательной; и снаружи она проявлялась ярче моей.

Если все это действительно так, то теперь моя задача — разобраться в том, какой же жизнью жила в моей душе эта способность, эта открытость к красоте вещей в математике. Как ни посмотришь, а все же это дорогой подарок нашей судьбы — умение восхищаться.

40. Ясно, что и в шестидесятые годы, когда в мои отношения с математикой (и с математиками) проникло самодовольство, я все же не мог до конца утратить восприимчивости к ее красоте. Спору нет, с годами я становился все более честолюбивым; но если бы не эта открытость, не эта чувствительность к красоте вещей, я просто не смог бы «функционировать» как математик, даже на самом скромном уровне. Думаю, что это касается не только меня: едва ли человек вообще может сделать что-нибудь полезное в математике, если он не чувствует ее красоты. Мне кажется, что ценность труда в математике определяется не столько так называемыми «умственными способностями», сколько тем, как остро человек чувствует, как тонко он слышит эту гармонию. У разных людей это чутье развито по-разному; один и тот же математик может быть то глух к красоте, то вдруг необычайно к ней восприимчив. Но чем яснее звучит для тебя эта гармония, чем внимательнее ты прислушиваешься к ней, тем твой труд глубже и плодотворнее ([36]).

Если так, значит, эта чувствительность была со мной до конца; ведь именно в конце шестидесятых годов[9], в своих раздумьях о математике, я начал различать перед собой самую изысканную, самую волнующую из всех тайн, которые мне суждено было открыть в математике. Она пряталась глубоко, за плотной стеной тумана. Понемногу выводя эту загадку на свет, я назвал ее «мотивом». Кажется, среди всех находок в

[9](8-е августа.) Просмотрев свои записи, я обнаружил, что первые мысли о мотивах пришли мне в голову в начале, а не в конце шестидесятых.

моей жизни как математика она увлекала меня сильнее всего (разве что темы моих размышлений последних лет могли бы с ней в этом поспорить — но они и сами тесно связаны с темой мотивов). Без сомнения, не случись тогда в моей жизни внезапного поворота, уведшего меня далеко за пределы уютной безмятежности мира математики, я поддался бы этому сильнейшему влечению: пустился бы вперед, на зов «мотива», оставив позади все, что цеплялось за полы плаща!

Ошибусь ли, если скажу: что бы ни случилось, чувство красоты в математике никогда не изменяло мне в уединении рабочего кабинета? Что самодовольство, так часто врывавшееся в мои отношения с собратьями по ремеслу, не притупило во мне этой восприимчивости, что до самого моего «пробуждения» в 1970 году она оставалась прежней? Ведь с годами, в ежедневном соприкосновении с математикой, некое «чутье» даже становится тоньше. Когда мы ближе знакомимся с теми или иными вещами, нам иногда удается, опираясь на опыт, угадывать о них то, чего мы еще не знаем наверное. Этот опыт (или зрелость: чутье, о котором я говорил, — самое заметное из ее проявлений) сродни открытости к красоте, к истинной природе вещей. Мы копим его в минуты «откровения» и в то же время с его помощью оттачиваем свою чувствительность к красоте, остроту восприятия. Этот опыт — плод нашей открытости, и в нем заложены семена для новых откровений.

Но что до той же открытости на уровне человеческих взаимотношений (более конкретно: отношений с коллегами в нашей среде), с этим вопросом мне еще предстоит разобраться. Сохранил ли я ее за все эти годы, не исчезла ли она из моей души, отравленной самолюбием?

Раздумывая об этом, я, как обычно, не в силах нащупать сколько-нибудь осязаемого образа: ни одного подходящего события, которое я мог бы описать в подробностях, не осталось у меня в памяти. На месте воспоминаний — сплошной туман; ничего конкретного, только общее впечатление. Что же, попытаемся передать его на словах. Похоже, что речь идет об определенной *внутренней позиции*, превратившейся в конце концов в мое второе «я». Она давала о себе знать всякий раз, когда мне попадалась на глаза математическая новость более или менее «по моей части». (Не то, чтобы я приобрел эту позицию с годами: скорее, она была во мне заложена. Это свойство характера, как будто сравнительно безобидное; я уже как-то о нем упоминал.) Выражалось это в том, что, знакомясь с новым утверждением, я никогда не соглашался сразу прочесть (или выслушать) его доказательство. Я всегда старался сначала сопоставить это утверждение с тем, что мне уже известно из этой области, и проверить, не окажется ли оно очевидным в привычном контексте. Нередко мне таким образом удавалось переформулировать утверждение так, чтобы оно стало более общим или более точным; зачастую достигалось и то и другое одновременно. И лишь в том случае, если у меня не получалось «пристроить» его посреди *моих* представлений о ситуации, опираясь на *мой* собственный опыт, я был готов (подчас чуть ли не против воли!) ознакомиться с остальным материалом в поисках *той самой*, все определяющей причины или, по крайней мере, доказательства (неважно, содержится оно там в явном виде или нет).

Именно эта особенность моего подхода к математике, мне кажется, в свое время выделяла меня среди всех прочих членов группы Бурбаки. По ее вине я никогда не умел, как они, полностью включиться в совместную работу. Эта же особенность, бесспорно, всегда была заметным препятствием в моей работе с учениками; думаю, что все они это ощущали. Впрочем, сейчас, с годами, я понемногу научился с этим справляться.

И все же, отсюда видно, что мне недостает душевной открытости. Получается, что я как бы настроен на определенную волну, открыт лишь частично: все, что попадает «не в струю», мой ум принимает не всегда, вынужденно и с большой неохотой. В том, как я выбираю тему для своих математических занятий (и рассчитываю, сколько времени уделить разбору той или иной неожиданной информации), намеренная установка на «частичную закрытость» во мне сегодня сильна, как никогда. Она даже необходима: иначе я не смог бы последовать зову, сильнее всего влекущему меня за собой, не отдавая всей своей жизни на съедение госпоже Математике.

Из моего «тумана», однако, можно почерпнуть еще кое-что вприпачу к этой особенности, которую я уже начал в себе замечать несколько лет назад (лучше поздно, чем никогда!). Похоже, что в какой-то момент это стало для меня *делом чести*: неужели, черт побери, я не смогу «взять за рога» это утверждение раньше, чем его успеют произнести вслух! Если автором утверждения был какой-нибудь неизвестный талант, тут примешивался еще другой оттенок: хватит и того, что *я* (уж кто-кто, а я-то должен понимать в этом толк!) сам до этого не додумался! Довольно часто я действительно успевал додуматься раньше, и не только до этого утверждения; тогда я чувствовал себя совершенно иначе. Кажется, я всем своим видом говорил автору: «Прекрасно; теперь можете катиться к чертовой бабушке. Вернетесь с чем-нибудь поинтереснее.»

Именно так я держал себя в истории с «молокососом, забравшимся в мой огород». Я даже не знаю, набрел ли он тогда в своей работе на какие-нибудь интересные подробности, которые я бы в свое время, составляя «секретные наброски» будущих трудов, упустил из виду. Это, впрочем, не так уж важно[10]. Итак, вопрос о том, как изменилась с го-

[10](8 августа.) С тех пор я понял, что это, напротив, далеко не так уж неважно. Именно здесь проходит граница между «спортивным подходом» и профессиональной бесчестностью; кто поручится, что я не переступил ее тогда?

дами моя восприимчивость к красоте в математике, наконец, начинает проясняться. Из этой истории видно, что она не осталась прежней — и перемены, по сути своей, достаточно глубоки. Можно сказать, что стоило мне закончить ту или иную работу в математике, как ее красота в моих глазах исчезала. Оставалось лишь честолюбие, которое требовало признания и наград. (При том, что я не всегда удосуживался выбрать время, чтобы опубликовать свою находку, это уже явно было чересчур.) Открытие в математике словно бы становилось моей собственностью, и я искал в нем уже не радости, но обладания. Так иной, познав женщину, становится глух к ее красоте — но, волочась за сотней других, все же не потерпит «соперника». В любви я считал себя выше этого, как будто нарочно стараясь не замечать, что к математике я относился именно так.

Мне кажется, что этот настрой на грубое соревнование в математике («спортивный дух», если можно так выразиться), появился у меня в то время, когда он уже успел достаточно широко распространиться в нашей среде. Не берусь указать точно, когда он проник в наши круги, и не знаю, когда он стал для нас привычен, как воздух (которым дышали и наши ученики, приходя к нам). Могу только предположить, что это произошло где-то в шестидесятые годы; быть может, в конце шестидесятых — начале семидесятых. (Если так, никто из моих учеников не избежал влияния этого настроя; поддаться ли ему, каждый должен был решать для себя!) Чтобы уточнить время, нужно вспомнить еще какие-нибудь конкретные события — но сейчас ничего не приходит мне в голову.

Скромная действительность, по своему обыкновению, разрушает воздушные замки и сводит на нет благородные образы. Мои отношения с математикой и с молодыми учеными вообще на поверку оказались совсем иными, чем я о них думал. К этой мысли я мог бы прийти и раньше, но взамен предпочитал обманывать себя самого, прибегая к грубым уловкам в меритократическом духе. Создавая эти благородные образы, я брал в расчет лишь свои отношения с учениками (но ведь ученики — гордость математика, успех каждого из них прибавляет ему славы!) и с самыми одаренными молодыми математиками со стороны. Я умел признавать заслуги юных талантов; как и со своими учениками, я обходился с ними на равных, не дожидаясь, пока на них посыплются почести. (Другое дело, что долго ждать не приходилось: «чутье» или есть, или его нет!) Итак, к своим собственным ученикам, к ученикам моих друзей и просто к юным гениям я всегда относился с уважением; все остальные молодые ученые не вызывали у меня решительно никакого интереса. С ними я мог обходиться как угодно, ни о чем не заботясь. *Они были не в счет.*

Все это так — но, мне кажется, непосредственное общение с человеком всякий раз что-то во мне меняло, хоть и ненадолго. Пожалуй, тот случай с «юным неучем» в известном смысле был исключением. Если молодой ученый подходил ко мне на семинаре или обращался ко мне с письмом, я, по-видимому, как бы брал его под свою защиту — и, естественно, начинал относиться к нему благожелательнее. Тогда находила выход и моя страсть опережать мысли собеседника: я всегда мог посоветовать ему, как можно расширить или углубить тему его исследования. Наверное, в этом случае он ненадолго становился, в какой-то мере, моим учеником. Ему тоже была от этого определенная польза, так что он вполне мог сохранить не самые худшие воспоминания о нашей встрече. (Я был бы рад что-нибудь услышать об этом из первых рук.)

На этих страницах речь шла прежде всего о моих отношениях с молодыми учеными — хотя проявления моего «спортивного духа», безусловно, этой областью отнюдь не ограничивались. Начинающий математик особенно восприимчив к тому, как видный коллега принимает и оценивает его работу: как психологические, так и чисто практические последствия такого контакта для него могут оказаться весьма серьезными.

41. Этой ночью я отложил перо с чувством настоящего удовлетворения, как человек, который знает, что потратил время не даром! И мне вдруг стало так легко и радостно на душе, что я просто расхохотался веселым, даже чуть-чуть злорадным, смехом озорного мальчишки. Кажется, много ли я сделал — всего лишь взглянул под другим углом на историю, в которой как будто все уже было ясно, разложено по полочкам. А взглянув, я прочел ее по-новому: в контексте *моих отношений с математикой как таковой*. Этого оказалось достаточно, чтобы миф, которым я столько лет дорожил, развеялся как дым.

Правда, мне и раньше случалось задумываться над своим отношением к математике. Как-то раз два с половиной года назад я провел не одну неделю, если не несколько месяцев, как раз в таких размышлениях. Тогда я начал понимать, что в былые времена я отдавал все свои силы математике не так уж и бескорыстно: мой выбор во многом определяло честолюбие. Но этой ночью мне удалось заметить одну вещь, которая до сих пор от меня ускользала: что я в те годы *ревниво* относился к своим находкам в математике. И тогда мне пришло на ум еще одно «совсем простенькое» открытие — пришло издалека, из моей первой «ночи медитации» (когда я медитировал, сам о том не подозревая — точь-в-точь как месье Журден у Мольера говорил прозой). Возможно (хоть я и не думал об этом), именно это живое воспоминание, неожиданно вернувшись ко мне, вызвало в моей душе столь бурную радость. Ведь мое давнее открытие словно бы подтвердилось заново, мало того: оно вдруг предстало мне в новом свете. Так бывает и в математике: вдруг, совершенно случайно, набредаешь на то, что обнаружил когда-то давно (не один год назад, быть может), и совсем на другой дороге. Такие встречи всегда приносят душе какое-то особенное, радостное удовлетворение: в эти минуты внутренняя гармония вещей звучит яснее, и наше знание, наше представление о них обновляется.

А еще мне кажется, что на сей раз я и впрямь «завершил обзор»! Вот уже несколько дней я чувствовал, что этим страницам чего-то недостает, хоть и не мог понять, чего же именно. Я решил не напрягать сил понапрасну: просто идти своей дорогой в надежде на новые встречи, оглядывая как будто привычные, и вместе с тем такие незнакомые окрестности. Незнакомые потому, что я до сих пор ни разу не удосуживался к ним присмотреться. Так и вышло, что к главной загадке, к самой прочной крепости самообмана на своем пути я приближался не спеша, прогулочным шагом. Думаю, что теперь я, наконец, распутал клубок, и мое путешествие вот-вот завершится.

Итак, прошлой ночью я и в самом деле добрался до места. Странное чувство — как будто стоишь на высокой башне: внизу, под ногами, расстилаются поля, по которым ты проходил, и обрывки впечатлений от долгого пути сливаются в большую величественную картину. Мозаика знакомых ручьев и пригорков, собравшись в одно, учит тебя словам «простор» и «пространство» — и, следом за ними, слово «свобода» само срывается с языка.

Вглядываясь в эту картину, я все еще подбираю слова. Я ясно вижу, что все, что приключилось со мной в моей жизни как математика за эти последние годы (а приключения нередко оборачиваются злоключениями, в особенности для тех, кто не умеет принимать уроки судьбы), я навлек на себя сам. Это — плоды того, что я своей рукой *посеял* в те времена, когда еще жил в мире математиков, и они несут мне из прошлого далекую весть.

Конечно, все это я уже не раз повторял себе за последние годы — в том числе на этих самых страницах. Я знал это по опыту: ведь не однажды, так вот сняв урожай, я пытался от него отказаться — и в конце концов все же принимал, как горький подарок. Впервые это случилось со мной еще до того, как я открыл для себя медитацию. Тогда я понял, что каждый урожай несет в себе смысл, и роптать на угощение — значит избегать нового знания, тем самым лишь отдаляя развязку. Этим открытием я дорожу: когда на меня находит жалость к себе и, прикрываясь благородным негодованием, слепит глаза, оно помогает мне сбросить повязку. Оно ведет меня к зрелости — но это отнюдь не означает, что я победил в себе непроизвольное стремление отвернуться от урожая всякий раз, когда предчувствую горечь. Мало просто сказать